

Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ

Повесть о лесах

СОДЕРЖАНИЕ:

К. Паустовский. Коротко о себе

Скрипучие половицы

Мечтательница

Разговоры за чайным столом

Овраги

Старая яблоня

Речные фонари

Дорожная книга

"Не боги горшки обжигают"

Мать и дочь

Глухомань

Встречный огонь

Ровные стружки

Ленинградские парки

Встреча с читателем

Аграфена

Железное время

Ожидание

В тумане спрятанного солнца

Короткое научное сообщение

Гонкое дерево

Кипрей

Старые серьги

---

## КОРОТКО О СЕБЕ

С детских лет мне хотелось увидеть и испытать все, что только может увидеть и испытать человек. Этого, конечно, не случилось. Наоборот, мне кажется, что жизнь была небогата событиями и прошла слишком быстро.

Но так кажется лишь до тех пор, пока не начнешь вспоминать. Одно воспоминание вытягивает за собой другое, потом третье, четвертое. Возникает непрерывная цепь воспоминаний, и вот оказывается, что жизнь была разнообразнее, чем ты думал.

Прежде чем рассказать вкратце свою биографию, я хочу остановиться на одном своем стремлении. Оно появилось в зрелом возрасте и с каждым годом делается сильнее. Сводится оно к тому, чтобы насколько можно приблизить свое нынешнее душевное состояние к той свежести мыслей и чувств, какая была характерна для дней моей юности.

Я не пытаюсь вернуть молодость - это, конечно, невозможно, - но все же пытаюсь проверять своей молодостью каждый день теперешней жизни.

Молодость для меня существует как судья моих сегодняшних мыслей и дел.

С возрастом, говорят, приходит опыт. Он заключается, очевидно, и в том, чтобы не дать потускнеть и иссякнуть всему ценному, что накопилось за прожитое время.

...Родился я в 1892 году в Москве, в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика. До сих пор Гранатный переулок осеняют, говоря несколько старомодным языком, те же столетние липы, какие я помню еще в детстве.

Отец мой, несмотря на профессию, требовавшую трезвого взгляда на

вещи, был неисправимым мечтателем. Он не выносил никаких тягостей и забот. Поэтому среди родственников за ним установилась слава человека легкомысленного и бесхарактерного, репутация фантазера, который, по словам моей бабушки, "не имел права жениться и заводить детей".

Очевидно, из-за этих своих свойств отец долго не уживался на одном месте. После Москвы он служил в Пскове, в Вильно и, наконец, более или менее прочно осел в Киеве, на Юго-Западной железной дороге.

Отец происходил из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось около Белой Церкви.

Там жили мой дед - бывший николаевский солдат, и бабка - турчанка. Дед был кроткий синеглазый старик. Он пел надтреснутым тенором старинные думки и казацкие песни и рассказывал нам много невероятных, а подчас и трогательных историй "из самой что ни на есть происшедшей жизни".

Моя мать - дочь служащего на сахарном заводе - была женщиной властной и неласковой. Всю жизнь она держалась "твердых взглядов", сводившихся преимущественно к задачам воспитания детей.

Неласковость ее была напускная. Мать была убеждена, что только при строгом и суровом обращении с детьми можно вырастить из них "что-нибудь путное".

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, благоговейно любили театр. До сих пор я хожу в театр, как на праздник.

Учился я в Киеве, в классической гимназии. Нашему выпуску повезло: у нас были хорошие учителя так называемых "гуманитарных наук", - русской словесности, истории и психологии. Почти все остальные преподаватели были или чиновниками, или маньяками. Об этом свидетельствуют даже их прозвища: "Навуходоносор", "Шпонька", "Маслобой", "Печенег". Но литературу мы знали и любили и, конечно, больше времени тратили на чтение книг, нежели на приготовление уроков.

Со мной училось несколько юношей, ставших потом известными людьми в искусстве. Учился Михаил Булгаков (автор "Дней Турбиных"), драматург Борис Ромашов, режиссер Берсенев, композитор Лятошинский, актер Куза и певец Вертинский.

Лучшим временем - порой безудержных мечтаний, увлечений и бессонных ночей - была киевская весна, ослепительная и нежная весна Украины. Она тонула в росистой сирени, в чуть липкой первой зелени киевских садов, в запахе тополей и розовых свечах старых каштанов.

В такие весны нельзя было не влюбляться в гимназисток с тяжелыми косами и не писать стихов. И я писал их без всякого удержу, по два-три стихотворения в день.

Это были очень нарядные и, конечно, плохие стихи. Но они приучили меня к любви к русскому слову и к мелодичности русского языка.

О политической жизни страны мы кое-что знали. У нас на глазах прошла революция 1905 года, были забастовки, студенческие волнения, митинги, демонстрации, восстание саперного батальона в Киеве, "Потемкин", лейтенант Шмидт, убийство Столыпина в Киевском оперном театре.

В нашей семье, по тогдашнему времени считавшейся передовой и либеральной, много говорили о народе, но подразумевали под ним преимущественно крестьян. О рабочих, о пролетариате говорили редко. В то время при слове "пролетариат" я представлял себе огромные и дымные заводы - Путиловский, Обуховский и Ижорский, - как будто весь русский рабочий класс был собран только в Петербурге и именно на этих заводах.

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась, и с тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и ученье. Перебивался я довольно тяжелым трудом, так называемым репетиторством.

В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале "Огни". Это было, насколько я помню, в 1911 году.

С тех пор решение стать писателем завладело мной так крепко, что я начал подчинять свою жизнь этой единственной цели.

В 1912 году я окончил гимназию, два года пробыл в Киевском университете и работал и зиму и лето все тем же репетитором, вернее, домашним учителем.

К тому времени я уже довольно много поездил по стране (у отца были бесплатные железнодорожные билеты). Я был в Польше (в Варшаве, Вильно и Белостоке), в Крыму, на Кавказе, в Брянских лесах, в Одессе, в Полесье и Москве. Туда после смерти отца переехала моя мать и жила там с моим братом - студентом университета Шанявского. В Киеве я остался один.

В 1914 году я перевелся в Московский университет и переехал в Москву.

Началась первая мировая война. Меня как младшего сына в семье в армию по тогдашним законам не взяли.

Шла война, и невозможно было сидеть на скучноватых университетских лекциях. Я томился в унылой московской квартире и рвался наружу, в гущу той жизни, которую я только чувствовал рядом, около себя, но еще так мало знал.

Я пристрастился в то время к московским трактирам. Там за пять копеек можно было заказать "пару чая" и сидеть весь день в людском гомоне, звоне чашек и бряцающем грохоте "машины" - оркестриона. Почему-то почти все "машины" в трактирах играли одно и то же: "Шумел-горел пожар московский" или "Ах, зачем эта ночь так была хороша".

Трактиры были народными сборищами.

Кого только я там не встречал! Извозчиков, юродивых, крестьян из Подмосковья, рабочих с Пресни и из Симоновой слободы, толстовцев, молочниц, цыган, белошвеек, ремесленников, студентов, проституток и бородатых солдат - "ополченцев". И каких только разговоров я не наслушался, жадно запоминая каждое меткое слово.

Тогда у меня уже созрело решение оставить на время писание туманных своих рассказов и "уйти в жизнь", чтобы "все знать, все почувствовать и все понять". Без этого жизненного опыта пути к писательству были наглухо закрыты, - это я понимал хорошо.

Я воспользовался первой же возможностью вырваться из скудного своего домашнего обихода и поступил вожатым на московский трамвай. Но продержался я в вожатых недолго - вскоре меня разжаловали в кондукторы за то, что я разбил автомобиль с молоком знаменитой в то время молочной фирмы Бландова. Поздней осенью 1914 года в Москве начали формировать несколько тыловых санитарных поездов. Я ушел с трамвая и поступил санитаром на один из этих поездов.

Мы брали раненых в Москве и развозили их по глубоким тыловым городам. Тогда я впервые узнал и всем сердцем и навсегда полюбил среднюю полосу России с ее низкими и, как тогда мне казалось, сиротливыми, но милыми небесами, с молочным дымком деревень, ленивым колокольным звоном, поземками и скрипом розвальней, мелколесьем и унавоженными городами Ярославлем, Нижним Новгородом, Арзамасом, Тамбовом, Симбирском и Самарой.

Все санитары на поезде были студенты, а сестры - курсистки. Жили мы дружно и работали много.

Во время работы на санитарном поезде я слышал от раненых множество замечательных рассказов и разговоров по всяческим поводам. Простая запись всего этого составила бы несколько томов. Но записывать у меня не было

времени. Поэтому я с легкой завистью читал потом превосходную книгу Софьи Федорченко "Народ на войне" - дословную запись солдатских разговоров.

Книга эта прогремела по России. Она была сильна как своей правдивостью, так и тем, что в ней уже слышался (в словах солдат) еще отдаленный, но явственный гром приближающейся революции.

В 1915 году всю нашу студенческую команду перевели с тылового поезда на полевой. Теперь мы брали раненых вблизи места боев, в Польше и Галиции, и отвозили их в Гомель и Киев.

Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне засаленного обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два мои брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры.

Я вернулся к матери, но долго не мог высидеть в Москве и снова начал свою скитальческую жизнь. Я уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом Брянском заводе, потом перекочевал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осенью ушел с котельного завода в рыбачью артель на Азовском море.

В свободное время я начал писать в Таганроге свою первую повесть "Романтики". Писал ее долго, несколько лет. Вышла в свет она значительно позже - в тридцатых годах в Москве.

Февральская революция застала меня в глухом городке Ефремове, бывшей Тульской губернии.

Я тотчас уехал в Москву, где уже шли и день и ночь шумные митинги на всех перекрестках, но главным образом около памятников Пушкину и Скобелеву.

Я начал работать репортером в газетах, не спал и не ел, носился по митингам и впервые познакомился с двумя писателями - другом Чехова стариком Гиляровским, "Дядей Гиляем", и начинающим писателем-волгарем Александром Степановичем Яковлевым.

Судорожная жизнь газетных редакций совершенно захватила меня, а беспокойное и шумное племя журналистов казалось мне наилучшей средой для писателя.

После Октябрьской революции и переезда Советского правительства в Москву я часто бывал на заседаниях ЦИКа (в "Метрополе", в "зале с фонтаном"), несколько раз слышал Ленина, был свидетелем всех событий в Москве в то небывалое, молодое и бурное время.

Потом опять скитания по югу страны, снова Киев, служба в Красной Армии в караульном полку, бои со всякими отпетыми атаманами - Зеленым, Струком, Червоным ангелом и "Таращанскими хлопцами".

Киев в то время часто осаждали. Вокруг города почти непрерывно гремела канонада, и население толком даже не знало, кто пытается захватить город - петлюровцы, Струк или деникинцы.

Из Киева я уехал в Одессу, начал работать там в газете "Моряк" пожалуй, самой оригинальной из всех тогдашних советских газет. Она печаталась на обороте разноцветных листов от чайных бандеролей и помещала множество морского материала - от стихов французского поэта и матроса Тристана Корбьера до первых рассказов Катаева.

Была блокада. Море было пустынно, но, как всегда, прекрасно. В редакции работало около семидесяти сотрудников, но никто из них не получал ни копейки гонорара. Платили то дюжиной перламутровых пуговиц, то синькой, то пачкой черного кубанского табака. Время было голодное и веселое.

В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников "Моряка" были Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей Соболев, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель Юшкевич. Мы смотрели на него, как на реликвию.

В Одессе я жил в полуразрушенной дворницкой на Ланжероне, у самого моря, и много писал, но еще не печатался. Вернее, не позволял себе печататься, считая, что еще не добился умения овладеть любым материалом и жанром. Эту способность я считал в то время главным признаком писательской зрелости.

Вскоре мною снова овладела "муза дальних странствий". Я уехал из Одессы, жил в Сухуми - тогда еще очень провинциальном городке, в Батуми с его тяжелыми теплыми ливнями, в Тбилиси, был в Эривани, Баку и Джульфе, пока, наконец, не вернулся в Москву.

Несколько лет я работал в Москве редактором РОСТА и уже начал время от времени печататься. Первой моей книгой был сборник рассказов "Встречные корабли".

Летом 1932 года я задумал написать книгу об уничтожении пустынь, объехал все берега Каспийского моря и, возвратившись, написал повесть "Кара-Бугаз". Писал я ее не в Москве, а в Березниках, на Северном Урале, куда был послан корреспондентом РОСТА.

После выхода в свет "Кара-Бугаза" я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной всепоглощающей, порой мучительной, но всегда прекрасной и любимой работой.

Примерно в это время я "открыл" для себя под самой Москвой неведомую и заповедную землю - Мещеру.

Открыл я ее случайно, рассматривая клочок карты, - в него мне завернули в соседнем гастрономе пачку чая.

На этой карте было все, что привлекало меня еще с детства, - глухие леса, озера, извилистые лесные реки, заброшенные дороги и даже постоянные дворы.

Я в тот же год поехал в Мещеру, и с тех пор этот край стал второй моей родиной. Там до конца я понял, что значит любовь к своей земле, к каждой заросшей гусиной травой колее дороги, к каждой старой ветле, к каждой чистой лужице, где отражается прозрачный серп месяца, к каждому пересвисту птицы в лесной тишине.

Ничто так не обогатило меня, как этот скромный и тихий край. Там впервые я понял, что образность и волшебность (по словам Тургенева) русского языка неуловимым образом связаны с природой, с бормотаньем родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами, отдаленной песней девушек в лугах и тянущим издалека дымком от костра.

Мещера постепенно стала любимым приютом нескольких писателей. Там жил Фраерман и часто бывали Гайдар, Роскин, Андрей Платонов.

В Мещере я сдружился с Гайдаром - с этим удивительным человеком, существовавшим в повседневной действительности так же необыкновенно и задушевно, как и в своих книгах.

Мещере я обязан многими своими рассказами, "Летними днями" и маленькой повестью "Мещерская сторона".

Почти каждая моя книга - это поездка. Или, вернее, каждая поездка это книга.

После поездки в Поти я написал "Колхиду", после изучения берегов Черноморья - "Черное море", после жизни в Карелии и в Петрозаводске



"Судьбу Шарля Лонсевиля" и "Озерный фронт".

Свою любовь к Ленинграду я выразил в какой-то мере в "Северной повести" и во многих других вещах.

Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском, в Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии. Во время Великой Отечественной войны я был военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест.

У каждого писателя своя манера жить и писать. Что касается меня, то для плодотворной работы мне нужны две вещи: поездки по стране и сосредоточенность.

Написал я за свою жизнь как будто много, но меня не покидает ощущение, что все написанное только начало, а вся настоящая работа еще впереди. Это довольно нереальная мысль, если принять во внимание мой возраст.

Жизнь всегда кажется мне смертельно интересной во всех своих аспектах. Этим, очевидно, и объясняется, что я с одинаковой охотой обращаюсь к самым разнообразным темам и жанрам - к рассказу, повести, роману, сказке, биографической повести, краеведческому очерку, к пьесе, статьям и сценариям.

Несколько особняком стоит моя работа над автобиографическим циклом "Повесть о жизни". Первая книга этого цикла - "Далекие годы" - вышла в 1947 году. Сейчас уже вышло шесть книг: "Далекие годы", "Беспокойная юность", "Начало неведомого века", "Время больших ожиданий", "Бросок на юг" и "Книга скитаний". Мне предстоит написать еще две книги, чтобы довести действие этого цикла до наших дней.

В послевоенные годы я много ездил по Западу - был в Польше, Чехословакии, Болгарии, Турции, Италии, - жил на острове Капри, в Турине, Риме, в Париже и на юге Франции - в Авиньоне и Арле. Был в Англии, Бельгии - в Брюсселе и Стенде, - Голландии, Швеции и мимоходом еще в других странах.

Вот очень короткий отчет о моей жизни. Более полный отчет будет дан в том автобиографическом цикле, о котором я только что упомянул.

Мы часто обращаемся внутренним своим взором к Пушкину. Он вместил все, чем живет человек, в пределы своей блистательной поэзии. Заканчивая этот

короткий очерк своей жизни, я хочу напомнить и себе и другим писателям тот пушкинский великий закон мастерства, следование которому навеки соединяет сердце писателя с сердцем его народа. Закон этот прост. Пушкин сказал:

...Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

К. П а у с т о в с к и й

Март 1966 года

Крым. Ореанда.

Краса полуночной природы,

Любовь очей, моя страна!

Я з ы к о в

## СКРИПУЧИЕ ПОЛОВИЦЫ

Дом разохся от старости. А может быть, и от того, что он стоял на поляне в сосновом лесу и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и проносил над ними вереницы кучевых облаков.

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками. Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом.

Растрепанные, высохшие, они даже не были похожи на цветы, а напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам.

Единственное, что раздражало композитора, - это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами.

Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился за рояль и усмеялся. Неприятное осталось позади, а

сейчас начнется удивительное и веселое: разохшийся дом запоет от первых же звуков рояля. На любую клавишу отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила, двери и старушка люстра, потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья.

Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.

"Прекрасная оркестровка!" - думал Чайковский, восхищаясь певучестью дерева.

С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждет, когда композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков.

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там - то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей - кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стекол с обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше.

Прислушиваясь к ночным звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, а ничего еще толком не сделано. Все написанное - только небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но еще ни разу ему не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни.

Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у объездчика Тихона!

В избу вбежала Феня - дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С ее волос стекали капли дождя. Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги.

Чайковский любовался девочкой. Но Феня стряхнула капли, все кончилось, и он понял, что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимолетных капель.

А Фет распевал в своих стихах: "Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах..."

Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.

Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги - в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца, - этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты.

Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные позлащенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России - ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя.

К счастью, в жизни выдаются удивительные дни - вот такие, как сегодняшний. Он проснулся очень рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.

На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну, закурил.

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место - оно называлось Рудым Яром.

Самая дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме, он просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и по изволоку - вверх, в корабельный бор.

Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы.

Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется и давно живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет потоками звуков.

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразило свет. Он вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайšie стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву - очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листках нотной бумаги.

Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Ее он прозвал "маяком". Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провел рукой по ее нагретой коре.

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл. Вступление к теме казалось расплывчатым и сложным. Он добивался ясности мелодии - такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.

Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил сигарку из самосада.

- Играет? - спросил, подымив сигаркой, Василий. - Прекратить, говоришь, нельзя?

- Никак! - ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника. Он

музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

- Дело, конечно, святое, - согласился Василий. - А ты бы все-таки доложил.

- И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

- А мы что ж, не понимаем? - рассердился Василий. - Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль.

- Ой! - вздохнула Феня и еще туже затянула концы платка.

- Весь бы день слухала!

Глаза у нее были серые, удивленные, и в них виднелись коричневые искорки.

- Вот, - сказал с укором слуга, - девчонка босоногая и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьешься. И неизвестно, за каким ты делом пришел.

- Я не в трактир пришел, - ответил бранчливо Василий. - В трактире встретимся - будем лаяться, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел.

Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

- Слыхали небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал.

- Да ну!

- Вот тебе и ну! Ну да ну, повесь язык на сосну!

- Ты чего вяжешься? - обиделся слуга. - А то я и ответить могу!

- Жилетку ты носишь бархатную, - пробормотал Василий, - с кармашками. А что в них класть, неведомо. Леденцы для девиц? Или платочек засунуть и пойти форсить под окошками? Ты, выходит, блудный сын. Вот ты кто!

Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно.

- То-то! - сказал Василий. - Понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал. А толку что? С долгами расплатиться не хватит.

- Кому продал?

- Харьковскому купцу Троценке. Принесла его сюда, за тыщи верст, нелегкая из Харькова!.. Слышал про такого?

- Купцов много, - уклончиво ответил слуга. - Ежели бы еще он был московский... да первой гильдии...

- Повидал я купцов на своем веку каких хошь гильдий. Таких видал оборотов, что спаси господи! А этот - с виду приличный господин. В золотых очках, и борода седенькая, гребешочком расчесанная. Чистая борода. Отставной штабс-капитан. А не похоже. Вроде как церковный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди - там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: "Мой, говорит, волкодав леса свел по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой - на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил". Думали, конечно, что врет приказчик. Они при денежных людях угождают; им соврать или человека разуть-раздеть - пустое дело. А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Троценко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор, до последней осины. Так-то!

- Серьезный мужчина, - заметил слуга.

- Хо-озяин! - злобно выкрикнул Василий. - Шея у него из одних мослаков, у анафемы!

- А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай. Только поспевай шапку скидать.

- Служишь ты у хорошего господина, - раздумчиво сказал Василий, - а душа у тебя как гнилой орех. Щелкнешь - а в нем заместо ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно бы тебя выгнал. Взашей! Как язык поворачивается такое спрашивать - мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил. Как баба ребят не растит.

- Вона! - насмешливо отозвался слуга.

- "Вона"! - передразнил его Василий. - А теперь что? Разбой! Да я еще должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь - жаловаться.

- Кому? - спросил слуга и пустил из ноздрей табачный дым. - Царю Гороху?

- Как кому? Губернатору. Земству. А не поможет - в суд! Дойти до

сената.

- Будет сенат с таким делом вожжаться!

- А не будет - так до царя-императора!

- Ну, а как царь не поможет?

- Тогда всем миром стать и стоять. Стенкой. Не допустим, мол, разбоя. Уходи, откуда пришел.

- Мечты! - вздохнул слуга и затоптал папиросу. - С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

- Это мы еще поглядим!

- Ну и сиди, дожидайся! - рассердился слуга. - Только имей в виду, что ежели он заиграется, так до ночи не выйдет.

- Небось выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляничкой и ушел в дом. Феня еще долго сидела пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами.

Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил сигарки, скреб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

"Колдует! - подумал Василий, поднял голову, прислушался. - Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? "Среди долины ровныя"! Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам? Эх, старость! А душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль. Не с руки расставаться!"

Когда в окнах запылал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, стал на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

- Ты что? - быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо. Встань! Что с тобой, Василий?



- Спаси! - прохрипел Василий и начал через силу подыматься, опираясь рукой о ступеньку. - Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется. Помоги, Петр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда наконец рассказал все как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

- Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

- Звали, Петр Ильич?

- Лошадей! Вели закладывать.

- Куда ехать-то?

- К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту позднюю поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали звезды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ.

Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть согнувшись, чтобы ветками не исхлестало лицо. Потом лес кончился, дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь.

"Успею ли? - думал Чайковский. - В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!"

С губернатором он познакомился как-то на благотворительном концерте в губернском городе. Смутно помнился тучный человек в тесном сюртуке, с припухшими, большими веками. Поговаривали, что губернатор - либерал.

Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, потом покатались по мягкой пыли. В окошках церковно блестели киоты. Потянулись каменные лабазы. Проехали мимо темной каланчи, мимо сада за высокой оградой. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами.

Чайковский позвонил у калитки.

Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь. Это успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле.

Горничная в ситцевом, до скрипа накрахмаленном платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом.

Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами.

Стук крокетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и прекратила играть. Да и трудно было его не узнать изящного, сидящего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку, - тонкую, но сильную руку музыканта.

На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.

- Существующие законоположения, - медленно говорил губернатор, выжимая ложечкой в стакане чая ломтик лимона, - к сожалению, не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Троценке на основании имеющихся на то инструкций. Господин Троценко волен действовать к своей выгоде. Ничего тут не поделаешь!

Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана.

- А что, собственно, вы находите в действиях Троценки преступного? осведомился он вежливо.

Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать еще? О поруганной красоте земли? О своем убитом вдохновении? О могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? "Мы тем и замечательны, что вспоили и вскормили свою народную силу в согласии с этой удивительной природой"? Или просто признаться, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияния воздуха на полянах?

Чайковский молчал.

- Конечно, - сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то

раздумывая, - лесное хищничество - вещь безобразная. Но я бессилён помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование. Но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом.

Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади.

Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.

Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал. Голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивало на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей: "Но, лодыри!" - и ерзал на козлах. Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва плелись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги.

Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Один выход: перекупить у Троценки втридорога лес. Но где взять денег? Послать разве завтра же телеграмму своему издателю Юргенсону? Пусть достанет деньги, где хочет. Под заклад его сочинений... Это решение несколько успокоило Чайковского.

- Не гони, Иван, ради бога! - сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей.

Чайковскому хотелось ехать долго, всю ночь, - в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признание, счастье...

Когда Чайковский очнулся, коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив кнутовищем упряжь на лошадях, сказал:

- Паром на том берегу. Спят, должно, перевозчики. Покричать, что ли? - Он подошел к самой воде, помедлил, негромко крикнул: - Перево-оз!

Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с сигаркой. Паром, скрипя, отчалил.

Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат, кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом.

Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут.

Если бы композитора спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы ответить только одно: "По совести говоря, не знаю". Он нарочно говорил иногда о своей музыке как о поденной работе, но знал, что это далеко не так.

И говорил он о ней как о чем-то обыденном только потому, что сам не мог понять, как это происходит.

Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал: "гения". Чайковский вспыхнул, покраснел - он никак не мог принять по отношению к себе это высокое слово - и резко ответил: "В чем тайна? В работе. И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги".

Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит вода о бревна парома, он подумал, что создавать - не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах: "Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветер с цветущих берегов..." Ветер с цветущих берегов! У него замерло сердце. Какие неожиданности таит в себе жизнь! И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет - здесь ли, на пароме, в блеске ли театрального зала, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в сиянии женских глаз, ласковых и пытливых.

Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности он окончит начатую вчера работу и посвятит ее... кому? Тому молодому, застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам: Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и неискренних похвал.

После переправы, сядя в коляску, Чайковский сказал кучеру:

- В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился... как его... Трощенко?

- Надо быть, там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет развиднеть.

- Ничего. Мне нужно перехватить его пораньше.

В усадьбе Чайковский Трощенко не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда у него была в репьях, и пес, немного полаяв, начинал тереть морду лапой, отдирать колючки.

На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

- А вам он на что понадобился? - недовольно спросил рыжий. - Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляске, длинно сплюнул:

- Дворяне! Разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру, с пустым карманом!

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали "здравствуй и прощай", шлеме из люфы с двумя козырьками, спереди и сзади, - ходил по лесу и сам метил топором сосны.

Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко спросил:

- Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил свое предложение - перепродать ему на корню весь этот лес.

- Желаете округлить владения? - ласково спросил Трощенко. - Этому лесу цены нету. Слышите? - Трощенко ударил обухом топора по сосне. - Поет древесина! А насчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит! Ну, и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита - золото сильно притягивает.

- Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет

сходная...

- Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу... - Трощенко помолчал. - Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена.

- А за сколько вы купили этот лес?

- Это дело десятое. Мой товар - моя цена.

- Хорошо! - сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь. - Я согласен.

- Что-то больно легко соглашаетесь, - промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар. - Прошу!

- Спасибо. Только что курил.

- Деньги-то у вас есть? - вдруг грубо спросил Трощенко.

- Будут.

- Царствие божие тоже будет. Когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю.

- Я вам выдам вексель.

- Подо что? Под эту усадобку? Да ей две тысячи - красная цена!

- Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

- Так-с!.. - протянул Трощенко и закурил. - Под музыку!.. Ее послушать, конечно, приятно. Послушал - ушел, а следа-то и нету! - Он протянул к Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами. Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра - дым! Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

- Наличных сейчас у меня нет.

- На нет и суда нет! И опять же о цене был у нас весьма примерный разговор.

- То есть как? Вы же назначили цену!

- Обследовать еще надо. Лес обследовать. По-настоящему его оценить. Да, пожалуй, и несерьезное это дело. Кто же так договаривается - на ходу!..

Нет! - сказал он резко. - Пустой разговор! Ежели бы вот завтра вы мне выложили пятнадцать тысяч, тогда бы я отступился.

- Да вы что, - сказал Чайковский, и лицо его опять пошло красными пятнами, - в своем уме?

- Мой ум всегда при мне. Я не в эмпиреях живу.

- Вы просто маклак!

- Тогда нечего вам с маклаком и разговаривать! - огрызнулся Трощенко. - Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты. Честь имею кланяться!

Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса.

"Всегда я так! - подумал Чайковский. - Вспылю, наговорю резкостей и сорву все дело".

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров.

Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.

Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

- Придется ворочаться на большак, Петр Ильич, - сказал кучер.

- Езжай! Я пешком пройду.

- Эх, обормоты! - вздохнул кучер, подбирая вожжи. - Рубить и то людски не умеют. Нешто дело - валить сначала большие деревья, а малые ломать

в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст...

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачной желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, - от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы металась над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал.

- Подлость! - бормотал он. - Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны - не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, "промотавшиеся отцы"!..

Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь - все это состарило его сразу на несколько лет.

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние! Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве.



Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно Нет покоя, - значит, нет радости. Нет ничего.

Дома он приказал слуге укладывать чемоданы.

Слуга сразу ожил:

- В Москву, Петр Ильич?

- Пока в Москву. А там будет видно.

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. "Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней..." А там, в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь как сплошная гостиница, где за все - равнодушную заботу, относительный покой, возможность создавать свои вещи - надо платить в срок и по дорогим счетам.

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился: одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.

Он резко - резче, чем следовало, - захлопнул крышку, встал и вышел.

А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал - никого! И сторожиха, должно, обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну.

- Та-а-ак! - сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил.

Ухала и сотрясалась земля: Трощенко валил лес без устали, без срока.

"Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна, - подумал Василий. - Отступился. Улетел. А мне здесь жить одному, в разорении".

Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенко.

- Хозяин здесь?

- А тебе чего? - глухо спросил Василий. - Чего надо? Остатный лес хочешь скупить? Свести под корень?

- Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой.

- Я этих мест хозяин! Я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу!

- Ты что, очумел?

- Уйди от греха! - тихо сказал Василий и замахнулся на Трощенко. Нашелся распорядитель! Волчья сыть! Кровосос!

- Ты не того...

- пробормотал Трощенко. - Не очень... Болван!

Трощенко повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул.

За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.

## МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец, Николай Никитич, хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию; Анфиса же думала совсем о другом - еще туманном, но привлекательном: о театре, путешествиях...

Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране. Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них с шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады.

Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами. Крашенные полы были тусклы, истерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, раскрашенная цветными карандашами.

Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса

знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мысли и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза.

Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду, в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом.

- Анфиса, глаза испортишь! - кричал из сада Николай Никитич; он весь день возился со своими яблонями и сливами.

- Сейчас, - невнятно отвечала Анфиса. - Только дочитаю до новой главы.

- Да ты мне вовсе и не нужна, - примирительно говорил Николай Никитич. - Дурочка! Глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут как оловянные плоски.

Но как ни боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только не выцвели, а, наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее за краем земли.

"Мечтательница, - думал Николай Никитич. - Ох, и хлебнет же она горя в жизни. Подумать страшно. Ох, и хлебнет!"

Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой - городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов.

Николай Никитич был старый садовод, человек, как он думал сам о себе, "практической складки". Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвести. Например, мак. Чуть подует ветерок - и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже пожухли и валяются в пыли под забором. Ну, конечно, что говорить - внешность у Анфисы театральная: девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу. И косы до самой земли. Но не в этом же дело.

- Непонятно мне, - сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне, - в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, которая дает осязательный результат.

- В вас она и вышла! - сердито ответила Нина Порфирьевна.

- То есть как это? Не понимаю, - удивился Николай Никитич. - Я садовод, хочу и из нее садовода сделать, а она упирается.

Заладила одно: в театр да в театр. А что в нем проку, в театре? Людей только тешить!

- Садовод-то вы садовод, - возразила Нина Порфирьевна, - а цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный.

- Это для услаждения глаз, - неуверенно объяснил Николай Никитич. Вы поглядите на эти колеры - от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!

- Как называется? - строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны.

- Немезия. Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный.

- А какой же осязательный результат? - неожиданно спросила Нина Порфирьевна.

Николай Никитич растерялся:

- Не пойму, чего спрашиваете?

- Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?

- В жизни ни единого цветка не продал! - торжественно ответил Николай Никитич. - Только дарю.

- Эх, вы! - сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми. - Гордитесь, что подружились с композитором Аренским, когда он здесь жил, а от искусства требуете немедленного практического результата! Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует.

- Так то искусство... - робко возразил Николай Никитич.

- А театр - не искусство? - спросила Нина Порфирьевна. - Как вы

думаете?.. Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечером, поговорю с ней.

Николай Никитич ушел не очень успокоенный.

Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон.

В доме у Николая Никитича было темно. "Ушла Анфиса, что ли?" подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад; надо было подставить подпорки под старую яблоню.

В саду сидела на скамейке Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался: сидит как неживая, сгорбилась, кутается в платок.

Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала.

- Что ты, дочка? - спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. - Никак, заболела?

- Нет, - ответила Анфиса и туже закуталась в платок.

- Что ж ты сидишь в темноте?

Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы, тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку.

- Что с тобой? - тихо сказал Николай Никитич. - Что это ты плачешь?

- Папа! - Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу. - Старичок ты мой милый!

- Ну что ты... - растерянно бормотал Николай Никитич. - Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?

Анфиса покачала головой:

- Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа! Никогда не раскаешься.

- Поживем - увидим, - ответил Николай Никитич. - Не завтра же ехать, а

к осени.

Сердце у него похолодело. Ясно, надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копать в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве.

- Непонятная нынче молодежь... - тихо сказал Николай Никитич.

Анфиса крепче прижалась к нему.

- Брось, дурочка, - сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась. - Может, и я с тобой поеду.

Но Анфиса долго не могла успокоиться.

Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом - надо было собрать старику ужин.

## РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент Лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля не был уже около трех лет.

Первое, что он увидел, - это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания.

Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них врассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца.

Недаром про этот городок ходила поговорка: "Ливны своими хоромами дивны". Городские хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты спокон веков не было. Слободские всегда жили "по-цыгански".

Городок показался Коле после жизни в Ленинграде очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах.

На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней-скороспелкой

и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне.

Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она, по старой привычке, говорила "ты", так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем "клопами" мальчишками и девчонками.

Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близоручие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю:

- Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?

Кузя покраснел и невнятно ответил:

- Да уж посмотрел...

- Тащи вещи на таратайку.

Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед.

Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала:

- Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится. Ну ничего, осенью дадут мне машину, "эмку".

Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых.

Как говорили, "овражность" была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию.

Коле повезло: его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году: опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса.

- Я уж и надежду потеряла, что ты явишься, - говорила Нина Порфирьевна. - Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось! Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края. А вышло, что

и для лесного специалиста нашлась здесь работа.

В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем:

- Вот я тебя! Нашла где рыться, старая дура!

Нина Порфирьевна жила на выезде из городка, на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся.

В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу.

Увидев таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух.

Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера.

Коля прошел в свою комнату. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени.

Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи: школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми марками, высушенные листья дуба, клена, березы, каштана... Все это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые мальчишечьи вещи, а склад рухляди скряги Плюшкина.

И вместе с тем ему было бы жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значительность, но он оставался благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали.

Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они лежали там уже давным-давно.

Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он никогда не выбрал бы себе то занятие, к которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств: любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку,



лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, и большой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы рассчитанной на десятилетия работе, окончания которой ты, может быть, не увидишь.

В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла. Разговаривать с ней было невозможно.

- Как здоровье, Марьевна? - прокричал Коля.

- Шибче говори, - отозвалась Марьевна. - Шибче! Я с летошнего года уже и грома не слышу.

Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучих и сочных цветов портулака, и позавидовал муравьям: живут среди цветов, трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают. Не ценят.

Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться. Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, как журчат по их дну родники.

Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему подымалась загорелая девушка в сарафане, с льняными косами, уложенными вокруг головы.

- Анфиса! - крикнул Коля. - Неужто ты?

- Я, - низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. - Господи, как ты вырос!.. Надолго приехал?

- На все лето. Буду работать на овражной станции.

- А я этой весной окончила школу.

Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купанья.

С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе его.

- Вот папа обрадуется! - сказала Анфиса. - Он у меня совсем стал старенький.

- А как сад?

- Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь "анфис". Похоже на "анис". - Она засмеялась. - Пойдем сейчас к нам.

- Ну что ж, - согласился Коля. - Я только выкупаюсь.

- Ну, иди! Я наверху подожду.

Коля сбежал на берег, разделся, но чтобы броситься вплавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки.

Коля взглянул в сторону железнодорожного моста: коровы все еще стояли в воде.

"Ну и жара, - подумал Коля. - Как хорошо, что я встретил Анфису!"

Она сидела далеко, на крутом берегу, под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце.

Коля выкупался и, свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась.

В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы.

Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню "анфис" и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол.

Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки. На мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны.

А какие только разговоры велись за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал - не только свое садоводство.

У себя в саду он устроил "цветочные часы". Об этих часах в городке

было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и так же точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше чем на тридцать минут.

За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравах - "засеках", которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами - пращурами нынешних обитателей Стрелецкой слободы.

Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили, или "засекали", так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери.

- Теперь, конечно, - говорил Николай Никитич, - засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова Засака около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой.

В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы.

В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Аренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубki сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор.

- Вот, - говорил Аренский, - дорогой Николай Никитич, какова игра жизни! Если бы не вырубили этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься: какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская песня. Вот и поди разберись!

Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий, или, как нынче принято выражаться, к его творчеству.

- Вот я, к примеру, - говорил Николай Никитич, - очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму.

Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоравливают землю, но поддерживают самую жизнь на земле.

В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами. Поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в Лесной институт.

У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники.

А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах.

Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы.

Коля улыбнулся, слушая объяснения Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся.

Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по "овражному делу".

- Хвалю! - сказал он. - Ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам. Сады бы разводила. Мало на земле растительности - от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес - так и пошло!

После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки.

На мостике Анфиса остановилась:

- Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще.

Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз

останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом.

- Прощай, Анфис! - крикнул Коля, но Анфиса не отозвалась.

На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках.

Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину - станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами.

Двор походил на базарную площадь - весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами.

Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем - подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает.

Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах.

- Абрам Борисович, - говорил Смышляев, - это же не постоянный двор! Надо что-то делать.

- Вы, очевидно, полагаете, - пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет, - что это образцовая аптека номер один в Москве? Где вы находитесь? Это же чер-но-зем! - крикнул он, со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, ожидавшую лекарства. - Вот, извольте, поглядите на эту красавицу!

Молодайка закрылась локтем и фыркнула.

- Подойди сюда! - приказал Абрам Борисович.

- Ой, батюшки, страх какой! - сказала молодая и бесстрашно подошла к прилавку.

- Вот капли, а вот полоскание! - сказал Абрам Борисович. - Смотри не напутай. Покажи, которые капли.

- Да что показывать-то! Уж вы всегда придумаете.

- Покажи, а то не выдам лекарство!

- Неужто не выдадите? - насмешливо спросила колхозница. - Человек старый, а молодежь завсегда обижают. Хоть в аптеку не ходи.

- Вот! - сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. - Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах, - он показал на смешливую колхозницу, - и еще чувствую себя нормальным человеком.

- Уж вы всегда так! - пробормотала женщина, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью.

За дверью она приснула от смеха и сказала кому-то:

- Нигде, молодая, нету нам проходу из-за нашей неземной красоты.

Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уже возмущенным взглядом и сказал:

- Ну, знаете, это уже чересчур!

- Простите, Абрам Борисович, - пробормотал Смышляев, закрыв форточку в аптеку и обернулся к Коле: - Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но в конце концов это соседство не мешает. Иногда даже веселит. А для работы это полезно. Как вы думаете?

Коля согласился.

- Работать полагается весело, - наставительно заметил Смышляев, - и любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля... - Смышляев помолчал. - Кого бы дать вам в подручные?

- Я сам найду помощника, - ответил Коля. - У него ведь работа будет несложная: волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый

мальчишка справится.

- Ну и чудно! - согласился Смышляев.

Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу. В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой, в Стрелецкой слободе, пели, сидя на берегу, девушки:

Спускается солнце за степи,

Вдали золотится ковыль...

Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля.

Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый и на яблонях не шевелился ни один листок.

- Тебе холодно? - спросил Коля.

- Нет. Это так...

- Загрустила?

- Нет... Или да. Загрустила. Вот ты уже третий год живешь в Ленинграде. А я один только раз и уезжала отсюда. В Курск. К тетке.

Они помолчали.

- Завтра начинаю работать, - сказал Коля. - Буду обмерять овраги. За Адамовской мельницей.

- Один?

- Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку.

- Возьми вместо деревенского ребятенка меня, - предложила Анфиса. - Я справлюсь.

- Работа тяжелая.

- Я сильная. Вот, смотри! - Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте. Потрогай!

Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие.

- Хорошо, - согласился Коля. - Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит.

- Отпустит.

Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенный мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек:

И вот повели, затянули,

Поют, заливаясь, они

Про Волги широкой раздолье,

Про даром минувшие дни.

Анфиса встала, пошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушала.

## ОВРАГИ

Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты.

За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полынью и пылью.

Это были удивительные дни - под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам, чуть пыля, ветерок.

К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена - веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди.

В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле



чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было постлано сено.

Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения.

Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир. Вдруг Анфиса опустила рейку и нагнулась к земле.

- Иди сюда! - крикнула она Коле. - Смотри, что за прелесть!

Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве.

Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле и, должно быть, очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром.

- Что такое? - спросил Коля шепотом.

Анфиса подняла на него счастливые глаза:

- Лиловый сон!

Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна.

Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр ее призвание, - столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях.

Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутаны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры.

Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как

Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом, вишневыми и яблоневыми садами и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю гордостью.

Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подалее, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо.

Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и выпить чаю.

Овраг был глубокий.

Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила:

- Как же мы теперь отсюда выберемся?

- Это что! - хвастливо сказал Кузя. - Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень - и считай до двухсот, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленное пропивают.

- Это ты брось, - заметил Коля. - Какие теперь разбойники!

- Сам я их не видал, врать не буду, а слышать - слышал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью. И вдруг слышу - гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрало меня по спине! Я как свистнул, кони как взялись - только меня и видели те разбойники. Один свист от меня остался.

- Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!

День выдался жаркий. От зноя все стало желтым - и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и наконец приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать.

Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас отпустил педаль.

- Что это? - испуганно спросил Кузя. - Никак, гром?

- Не похоже на гром, - неуверенно ответил Коля. - Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище.

- Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть.

Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног.

Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала:

- Хорошо, Коля, что у тебя есть мама!

Коля удивленно посмотрел на Анфису:

- А у тебя есть отец.

- Это не то, - промолвила Анфиса. - Отцу многого не расскажешь. Не с кем поговорить... обо всем...

- А со мной?

Анфиса покачала головой:

- С тобой как раз и нельзя.

Коля хотел спросить ее: "почему?" - но сверху хрипло закричал Кузя:

- Вылезайте! Гроза! Страсть какая!

- Анфиса, скорей! - быстро сказал Коля.

Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху, на краю оврага.

Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать.

- Скорей! - умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку.

Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завилась вверх, и в этой пыли исчез Кузя.

Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник, изодрал руки. Вверху уже все ревело. Взглядывая на край обрыва - далеко ли еще взбираться, - Коля один только раз увидел солнце. Но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок, с чудовищной скоростью и от солнца отрываются и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени.

Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело, только глаза - темные, напряженные - смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю.

- Что? - спросил Коля.

- Темно... как ночь! - крикнула Анфиса. - Мы успеем... до дождя. Не волнуйся!

"Что она кричит? - подумал Коля. - Какая ночь?.. Ах, да!" Там, наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнувшие кровавые отблески во всклокоченных далах.

Лишь бы не начался сейчас дождь! Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будет мчаться, поднимаясь все выше, грязный пенный поток. Он их захлестнет и потопит.

Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика.

"Сон это, что ли?" - подумал он и застонал от досады: на руку упала первая теплая капля дождя.

- Что ты? - крикнула Анфиса. - Это не дождь. С тебя пот льет ручьями.

Тогда только Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота.

Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи.

Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх.

Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза.

Спасены! Но он не успел ничего сказать. Небо расколосось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт.

- Тут шалаш, землянка! - прокричал Кузя и показал в поле.

Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу, навстречу свинцовой стене ливня, и успели спрыгнуть вниз, в землянку, когда отвесно

падающая вода шумела, набегая уже рядом, в нескольких шагах.

Анфиса села на старое, перепрелое сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю.

- Какие молнии! - сказала Анфиса. - Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит.

Ливень шумел, набирая силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам.

Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

- Гроза будет затяжная или короткая? - неожиданно спросила Анфиса.

- Не знаю, - ответил Коля.

- А как бы ты хотел? Чтобы затяжная?

- Да!

Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессиленные, медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью, ночь будет лунная.

Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипла к ногам. От промокшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла в отсыревшем платье.

В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом.

Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей.

Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала,

что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу.

- Зачем? - испуганно спросила Анфиса.

Марьевна виновато посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала.

Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой.

"Ну и наломала гроза хворосту! - подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. - Должно, опять повалило мамашин забор".

Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузе уже надоело его чинить.

На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники, заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел, - дело было серьезное.

## СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! Лучше уж так дожить, без операции, - только беречься, не поднимать тяжестей, не надрываться.

Николай Никитич закрыл вьюшки в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но эта ему особенно не понравилась. Во всю длину тучи шло, дымясь, желтое облако, похожее на грязную вату.

"Низкая гроза, - определил Николай Никитич. - Ох, и будет же хлобыстать!"

Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и прятались на чердаках.

Около заборов перекликались встревоженные женщины.

За рекой, со стороны грозы, шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе необыкновенно белым.

Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство: за последние три года овраг подошел к саду вплотную, в одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше чем в ста шагах.

"Как бы сад не подрыло!" - взволновался Николай Никитич.

Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план - прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать: на краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно.

Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень.

Николай Никитич попятился от порога. Ему почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут всё на одном и том же месте белые лошади.

Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага.

- Подмывает! - крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомоине.

По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомоину, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь, в такой проливень, никто не мог ему помешать.

Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать.

Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых Адамовских оврагах? Быть не может! Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся.

Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад: забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю.

Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок

земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась, в обнаженной земле показались темные корни соседней молодой яблони; они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз в реку.

- Анфис! - крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь, к дому, забыв на земле лопату.

Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала.

Николаю Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода наконец оторвет яблоню и унесет по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась.

Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад - посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начинался провал.

Антонина Васильевна прошла в дом.

Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду.

Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол.

Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно.

В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, близорукими глазами строго посмотрела на Анфису, взяла ее за руку, сказала: "Пойдем сюда!" Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь.

Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел



войти к матери, но не решился.

Появилась знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя:

- Как раз по нему.

- Коля! - позвала из-за двери Нина Порфирьевна.

Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела наклонившись, упершись руками в кожаный диван; косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами, и Коля услышал тихий звук, похожий на стон: Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

- Коля, - спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису, - пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней... Нина Порфирьевна помолчала. - Теперь Анфиса будет жить у нас.

- Не надо! - прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней.

- Ну, ничего... - Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. - Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек. И мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?

Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне.

Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче.

Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны.

Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище.

День похорон выдался пасмурный, теплый.

После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал:

- Многое я испытал, но такой грозы еще не видел.

- Я хотя и привык, - добавил Абрам Борисович, - но, между прочим, каждый раз волнуясь.

- Народ наш - мечтатель, - заметил Смышляев. - Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые Воды, сказание о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья - от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. Овраги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада.

- Дело всей жизни! - вздохнул Абрам Борисович.

- Да, овраги... - задумчиво сказал Смышляев. - Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают в овраги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера.

- Недурно! - рассердился Абрам Борисович. - Когда же это кончится?

- Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов.

Через несколько лет они превратятся в рощи. Размылов больше не будет.

- Сказка Андерсена! - пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: - Не могу выбить из себя скептицизма.

Чай пили на веранде. По углам стояли в кадках фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце.

Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы.

- Пусть побудет одна, - вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле. Посиди с нами.

За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу - самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию, - и спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию.

- Это у меня от матушки, - ответил Смышляев. - Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню. И меня с собой брала. Там леса.

Бывало, приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес - прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства.

Коля слушал плохо.

Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной.

Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами.

Просыпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему и к Анфисе, и в этих звездах было не передаваемое никакими словами спокойствие ночи.

## РЕЧНЫЕ ФОНАРИ

Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после десяти дней, проведенных на охоте в глухих, болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным.

Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению - будь то отдаленный гудок озерного парохода, или крик ястреба, или выстрел.

Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался.

Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда день уже меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо - и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари.

Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной.

Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но недоставало упорства, чтобы их выполнить.

Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самым воздухом и перспективой ленинградских улиц.

Вот и сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей.

Сначала он, конечно, в какой уж раз, изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во весь голос. Всегда они у него идут по "затухающей кривой". Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорей от них избавиться.

Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился.

Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь, - прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над купами темной зелени.

В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полосу. Она долго не таяла. Она будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде и казалась воздушной тропой, ведущей в мировое пространство.

Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а какое-то необычное - очень светлое и плодотворное - состояние. Только по косности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно.

Потом он подумал, что есть особая прелесть как раз в таких вот неясных человеческих состояниях. Из них-то и рождается поэзия.

Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее, их уже невозможно, нельзя позабыть, они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна:

Ты счастье! Ты радость прежних лет!

Весна моей мечты далекой...

Прозаик - по самой своей сути человек медлительный, обстоятельный и простой. Поэзию же Леонтьев считал волшебством. Поэтам он завидовал и не уставал восхищаться их способностью всегда по-новому - неожиданно и броско - передавать давно знакомые ощущения.

Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни, и это выражение "навстречу заре" - вовсе не затасканная, старая метафора. Если взглядеться в чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье скрыто и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, и в том, что где-то высоко, на четвертом этаже, слышен из открытого окна детский смех.

"Черт возьми! - подумал Леонтьев. - Как бы это все же собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность?!"

Единственное, что он сейчас ощущал, - это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами.

Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос как будто мимолетных мыслей и впечатлений станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные, строгие берега повествования.

Удивительнее всего, что окружающее было под стать этой ночи с ее сумрачным блеском: и тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей.

Вот прошел старик без шляпы, с заложенными за спину руками известный ученый; остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся

тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас, в свете ночи, совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем, иссякающем свете какую-то книгу.

"Что она читает?" - подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить об этом девушку, но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами - такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, - и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось - на обложке Леонтьев прочел: "Алексей Толстой. Хождение по мукам". Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо - тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами.

Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной станции. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман серыми струйками начал осторожно выползать из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было.

И тут наконец Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли, по существу, являются мыслями о родине и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице своей страны. Ленинград был одним из лучших ее выражений, и все в нем, до последней мелочи, говорило о прошлом, о настоящем и будущем России.

Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать: о России. Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да, полно, можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно, нет. Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи - небывалой и удивительной.

Как, каким путем он это сделает? Это в конце концов было не так уж важно. Он твердо знал, что сделает.

Он лег на боны, зачерпнул невской воды и умыл ею лицо. Вода пахла водорослями и немного железом.

Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На лицо его упал луч только что взошедшего солнца, и он улыбнулся от ощущения утренней теплоты.

## ДОРОЖНАЯ КНИГА

Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад, из-под колес буграми била вода, но сняться с мели не удалось.

Ока волочила грунт на перекате с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению.

Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, который мог бы стащить пароход с мели. Но река была пока что пустынна.

На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир "Кочегар" с четырьмя баржами-нефтянками и ни разу не коснулся дна.

- Шалит река! - виновато говорил бакенщик капитану. - Несет песок бесперечь второй год. Каждый день перекаат меряю, переставляю бакены. Да за этой рекой разве утонишься! Чуть оглянулся, а она - пожалуйста! - завалила уже песком весь фарватер.

- Нарочно в Залесье задержались, - с отчаянием сказал капитан, чтобы проскочить этот проклятый перекаат засветло. И вот - на тебе! Проскочили!

Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался.

- Твоя собака? - спросил капитан бакенщика.

- Моя. Дамка. Пароходы она уважает.

Будет так вот сидеть глядеть хоть целый день. А вот моторок не любит. Прямо сипнет от злости, как их увидит. И чего ей дались те моторки, не пойму.

- Что-нибудь да есть, - сказал капитан. - Не без причины.

- Известно, не без причины! - радостно согласился бакенщик.

Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы оттянуть неприятный разговор о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. В глубине души он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели, или нет за ним никакой вины.

Пожалуй, скорее, вины нет. Не может же он каждые два часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакены с места на место!

Река за последние годы совсем отбилась от рук. Кто его разберет, чего в

ней теперь больше, воды или песку! Вот, месяц назад, села на мель беляна у Ближних Полян, а сейчас уже намыло вокруг нее целый остров, и с того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу.

- А вокруг беляны-то, - спросил капитан, и бакенщик даже поежился: вот он, старый разговор, - той, что у Ближних Полян, небось лоза уже выросла?

- Это верно, выросла! - с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет.

Он помолчал и наконец спросил капитана о том, что его давно и больше всего беспокоило:

- Отец мой, бывший водолив, все сердает, что происходит такое обмеление. Это, говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильного распределения воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова.

- Почему пустые?

- Я так полагаю, что не в распределении дело, а бесперечь сохнет земля. Вода куда-то девается, шут ее знает!

- Что ты путаешь! - рассердился капитан. - Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось - и дожди те же и снега те же. А вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на десять километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят.

- Правильно!

- А почему такое явление? Не соображаешь! Потому что голо кругом, капитан кивнул на песчаные берега. - Голо! Я по этой реке плаваю уже тридцать пять лет. Что тут было раньше, забыл?

- Лес, конечно, был, - ответил неуверенно бакенщик. - Ха-а-роший лес! Семь верст до небес - и все лесом.

- Вот то-то! Лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса - не надо нам никаких плотин. Понятно?

- Понятно, - пробормотал бакенщик.

Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом, в пригородных парках.



Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода.

Зиму Анфиса прожила в Москве, училась в театральной студии. Поселилась она в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва: ее зимние туманы, огни, сутолока, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам, студия, где преподавание было поставлено очень интересно, жаркие, до слез, споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво добивались преподаватели, - от постановки дыхания и голоса до умения фехтовать.

"Чтобы быть хорошим актером, надо много знать, понимать и прочувствовать" - таков был закон студии. Анфиса жадно читала, бегала по музеям.

Стипендии ей не хватало, и она кое-что подрабатывала: помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и наваливал на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала.

Но всё искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет - то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах олифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски, - все это нравилось Анфисе.

Особенно любила она пустой и неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями, позолотой и наполнится до самого купола пением оркестра. Легкий театральный ветер будет колебать занавес, и наконец начнется спектакль - то удивительное зрелище, к которому Анфиса все еще не могла привыкнуть.

С Колей Анфиса переписывалась редко.

Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем было собралась, но передумала: решила поехать со своей подругой, студийкой Татой Базилевич, на две недели на пароходе от Москвы до Казани и обратно.

"Вернусь и, если останется свободное время, поеду в Ленинград", говорила она себе, хотя хорошо знала, что свободное время останется.

На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с седеющей бородкой и прищуренными спокойными глазами, - ленинградский писатель

Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от речного вокзала в Москве, и тотчас сдружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко - больше усмехался.

- Сидим? - спросил Леонтьев Анфису.

- Сидим!

- Люблю речное плавание, - хитро сказал Леонтьев. - От торопливости, говорят, жизнь сокращается.

Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он все одну и ту же толстую Книгу. Называлась она: "Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область".

Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурился, чтобы в него не попадал дым из трубки. Изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь.

Он читал и работал на палубе так же спокойно, как, должно быть, у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало - ни разговоры пассажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встречные пароходы.

Леонтьев безмолвно участвовал во всей пароходной жизни. Он часто откладывал книгу и смотрел на берега. Вот на крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов, что-то задорно кричат вслед пароходу, и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом, и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом.

Мост торопливо разводили. Пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту.

На мосту, засыпанном сухим сеном, дремали лошади, свистели в два пальца мальчишки, махали платочками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал:

- "Рылеева" не видали?

- Следом идет! - отвечали с мостика.

- Там у меня зять механиком.

- Чего?

- Зять, говорю, механиком!

- С чем вас и поздравляем, папаша! - кричали с парохода.

Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил. Волны весело били по мосту, захлестывали на него; девушки с визгом подбирали платья, лошади пятились, прядая ушами; дружно качались привязанные к мосту дощаники, и пароход, широко разворачивая за кормой пенистый след, прибавлял ход до полного.

Все успокаивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло. Монотонно работала машина. С лугов доносился запах клевера. Клонило в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался, за излучиной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шесты - антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет. Книга "Россия", которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения.

В конце XIX века петербургский издатель Девриен начал выпускать многотомное географическое описание России.

Руководил этим изданием известный географ Семенов-Тян-Шанский.

Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий.

Обширный этот труд был интересен тем, что, помимо общего описания каждой области, ее рек и озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города, вплоть до самых ничтожных, "заштатных", но даже все села и деревни.

Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые составители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям.

Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов "России". Он находил в книге много полезного и неожиданного.

В конце концов это была первая географическая энциклопедия страны. Она давала представление о ней в те времена, когда в России особенно бурно развивалась промышленность, строились железные дороги, начиналась каменноугольная горячка в Донецких степях.

Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная,

пригодятся ли они ему для работы. Просто эти места казались ему интересными.

"На реке Воронеже, при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах (Козловском, Липецком и Раненбургском), находится село Старая Казинка, бывшая в начале XIX века во владении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком его сочинений. В 1788 - 1789 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал "Утренние часы" и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевез в Казинку. В 1795 году по доносу козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден.

Племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете.

В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора, автора оперы "Алеко" и ряда других произведений".

...Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать:

"В семи верстах выше устья реки Красивая Меча расположено село Троекурово, имеющее больше трех тысяч жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце XVII века, по свидетельству синодика, хранящегося в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра Первого. Он был назначен начальником Стрелецкого приказа и в этом качестве должен был "вершать" разнообразные дела. Так, в 1695 году к Троекурову привели мужика, который закричал "караул" и сказал за собой "государево слово". Допрошенный Троекуровым, он заявил, что если ему помогут сделать крылья, как он укажет, то он будет "летать, как журавль". Крылья были сделаны "по указу великих государей". Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурову, чтобы ему позволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в пять рублей. Но князь "раскручинился", приказал бить мужика-журавля батогами, а 18 рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имущество".

Выписав это место, Леонтьев улыбнулся: до чего чудесный народ беспокойный, талантливый, золотые руки! Как знать: если бы дали этому мужику еще пять рублей, то, может быть, и вышел бы толк.

Чтение "Географического описания" навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе - ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые и только что

возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера - каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест.

В предисловии к тому "Среднерусской области" с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области. Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский, капитан Головин, художник Крамской, актер Щепкин, генерал Ермолов и многие другие.

"А мы? - думал Леонтьев. - Плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников уроженцев этой же области".

Леонтьев начал вспоминать: академик Павлов, Циолковский, Мичурин, скульптор Голубкина, писатели Малышкин, Новиков-Прибой, Гайдар, Пришвин, Вересаев, поэты Асеев, Есенин, художник Архипов...

Для этой работы нужно было создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал.

Это была работа на много лет - захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок поглуше, пожить там и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть "в натуре".

Леонтьев был страстный охотник и рыболов. Поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные боры с их озерами и болотами.

Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой и заманчивой.

Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что раннее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях.

Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь.

Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк:

"Происхожу из крестьян бывшей Самарской губернии. С трех лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином-бобылем. Приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование. А затем - с семнадцати лет - я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда".

...Теперь, на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского "В лесах", он бы ничего, наверно, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился.

- Вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? - спросил он Анфису. - О Керженских. В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда.

- А отец? - спросила Анфиса.

- Ни отца, ни матери я не помню. С трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, бирюк и бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немислимый. Но с воображением. Уважал науку.

Говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколется самое вязкое полено.

- Как же он дал вам образование? - удивилась Тата.

- По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги. Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был занозистый, прекословить себе не давал. Есть такие мужички: уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был с Керженца. Потому и прозвище у него было на деревне "Кержак". Детство, в общем, было у меня невеселое. Засухи, голод, "черные бури". Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу, а там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал.

- Он умер? - спросила Анфиса.

- Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку: очень гордился. Надо бы съездить к нему на могилу, да вот все некогда... Да, - повторил, помолчав, Леонтьев, - невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю; прямо заболеваю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие. Суховеи. Хлеба сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце - красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зарницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба, - сухо, мертво, как жестяные.

Да... Однажды, в такую вот засуху, забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый, и глаза такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. "Не гляди! - говорили. - И так дышать нечем". Помню, как монах все кричал: "Бога забыли! За грехи ваши господь постановил испепелить эту землю на пять аршин в глубину. Покайтесь! А не то задымятся хлеба, и все погибнет. Спасутся, кричал, только птицы небесные, улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит!"

Сначала мужички наши уперлись. "Чего нам каяться! - говорят. - Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем парамоновских (а Парамоново от нас в шести верстах), не грешили". А монах все кричит, что, мол, надо отслужить молебствие о ниспослании дождя и опяхать на бабах и ребятах вместо коней все село.

- Прямо средние века! - возмутилась Тата.

- Да, - ответил Леонтьев. - Мужики наши подумали и согласились: терять-то все равно нечего. Ночью опяхали село. Запрягли в соху баб и нас, нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим соху, а монах идет рядом и покрикивает: "Помолимся, православные! Во избавление!" А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями туча. Передернуло ее

бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся. А зарницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и видим мы: туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает, как через сито.

Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбило пыль под небом, и нет там ни капли дождя.

Бросили соху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями на бугор среди полей, - с того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел: "Миром господу помолимся..." Кадит, искры из кадила сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают.

Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят: "Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!" Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу, хоругви захлопали, зазвенели. Смотрю, поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит: "Вот, православные! Услышал господь моления наши. Подходите ко кресту, сестры и братия". Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу: "Ну и намолил ты нам, батюшка, дьявола! Спасибо!"

- А что же это было? - испуганно спросила Тата.

- Погодите. Я смотрю, десятки смерчей летят перед тучей - и прямо на нас. Солнце сразу померкло, и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно - и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю. Дышать нечем. А как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит: "Где монах? Народ замутил, накликать беду, косматый!" Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане! Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник бубенцом.

Тата засмеялась.

- Да!.. - вздохнул Леонтьев. - Все поля занесло песком, хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали - да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги - искать счастья. Проклятые были места! Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть...



Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.

## "НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ"

Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира - молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали.

Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом, стального цвета, костюме.

Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом, в черепаховых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашляя, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в десять километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга - реальность.

"Работа исполинов!" - думал Леонтьев.

Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик какая-то суетливая старушка. Она везла в Горький к своей дочери внука - толстощекого мальчика с сонным лицом.

- Можете себе представить, - трещала старушка, - сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка. На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она сошла бы с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней.

- Чего вы так волнуетесь? - заметил инженер. - Добро бы по делу ехали.

Ну, знаете! - воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. - Каждый думает, что его дело - самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день.

Инженер пожал плечами:

- Я совсем не собираюсь останавливать Волгу.

На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой,

ленивый и низкий.

- Буксир! - крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу.

За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели.

Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго, с наслаждением отдувался.

Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плиты на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на "Рылеева", который идет следом.

Почти все пассажиры перешли на "Рылеева". Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем: оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата да еще две женщины - инженеры с текстильной фабрики.

Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиним двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей.

Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое.

Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций: день был жаркий.

- Этот лесничий, - сказал наконец Леонтьев, заканчивая третью порцию, - совершенно замечательный человек! Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки.

- Ну как? - спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами.

- Что "как"? - ответила Тата. - Конечно, поедем. Но только если нас завтра утром подбросят обратно.

- Подбросят, - пообещал Леонтьев. - Там лес, говорят, заповедный.

- Я толком и не видела настоящего леса... - грустно призналась Анфиса. -  
Наша область безлесная.

- А вы откуда?

- Я из-под Курска.

Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабинки выскочил лесничий. Он был теперь уже в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь.

- Да у Марии Трофимовны! - подсказал пожилой шофер. - Она в отпуск уехала. Комната ее пустая.

Машина, пыля, пронеслась через городок, потом покатила по окраинным улочкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой.

Гуси, гогоча и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину, с наигранной яростью заливаясь лаем.

Анфисе нравилось здесь все: и гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок.

Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было.

- Где же ваш лес? - поинтересовалась Анфиса у Баулина.

- А вон он синееет!

Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила.

Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар.

ески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми. Кое-где торчали редкие кусты лозняка.

Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракета у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая

улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть.

В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот, мальчишка с измазанными ягодой щеками.

Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоявшее на земле.

- Что ж так? - спросил шофер. - Вода у вас будто по карточкам.

- Ох, деточка, - вздохнула старуха, - покуль наберешь воды, прямо измаешься! Безводное наше село.

- А где все? На работе?

- Ушли, милый. У нас поля далеко, за песками.

- Что ж вы пески такие развели! - шутливо попрекнул старуху Баулин.

- Ох, деточка, - опять запела старуха и заправила под платок седые волосы, - пески у нас великие! Как солнечный день, так продыху нет. Калятся они от солнца и все сушат, до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка. А как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот - не отплюешься. А главное, заносит поля. Так и ползет и ползет - хоть переноси деревню на новое место.

- Сами виноваты, - сказал Баулин. - Сосняк рос на песках - вырубил. Начали скот на порубке пасти. Скот всю землю истолок - вот тебе и пошли пески. А теперь жди, покуда их остановят.

- Ты меня не вини, - испуганно сказала старуха, - это дело мужиковское. Кабы наши мужики знали, что стряется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку срубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что нынче всё разъясняют. А ране кто нам мог разъяснить? До Советской власти? Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам. И не служил, а прямо ржал - не разбери господи, чего и кричит. Такой уж нам попался.

От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет пяти и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату.

Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но, пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из сеней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза.

Конфета была спасена, и девочка успокоилась.

Поехали дальше. Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла.

- Наша работа, - сказал Баулин. - Закрепляем пески. Они здесь летучие.

Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники.

"Да! - думал Леонтьев. - Что может быть лучше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи... Скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на возах, возвращаясь с покоса, женщины и глаза их кажутся золотистыми от заката... И по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое: и гудки пароходов, и лай собак, и мычанье коров, и далекий веселый голос гармоники около избы сельсовета".

"Обо всем этом я и буду писать, - думал Леонтьев. - О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа".

— Головы! - внезапно крикнул Баулин.

Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы. Тотчас в лицо повеяло живительным холодком.

- Вот и лес! - сказал Баулин.

- Анфиса! - крикнула Тата. - Смотри, что делается!

Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу. Анфиса встала, схватилась за крышу кабинки.

Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди облаков и ветра. И оттого, что дорога поднималась по увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они, точно в сказке, несутся - летят в неизвестную страну.

- Как здорово! Ах, как здорово! - восхищалась Тата.

Анфиса наклонилась к окну кабинки и прокричала:

- Хорошо, Сергей Иванович!

Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву.

На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки.

- Перекур! - сказал шофер. - Мотор греется.

Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше тридцати метров, выше самой высокой сосны.

Баулин полез первым, за ним - Леонтьев, позади - девушки.

Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом.

Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суежилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы.

На верхней площадке вышки их встретил объездчик - веснушчатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль.

К дощатому столу была приколоты кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной и на платке лежали коржи из ржаной муки.

- Угощайтесь, - предложил объездчик. - Малина наша, лесная.

- Спасибо, потом, - торопливо ответила Тата. - Сначала посмотрим.

Она подошла к перилам вышки, села на нестроганный пол, обхватила

руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорья, то уходя в низины, где, должно быть, протекали речушки, важно шумел девственный лес.

Анфиса села рядом с Татой. Океан хвои колыхался вокруг. Парили ястребы.

- "И нет конца лесам сосновым..." - неожиданно сказал Леонтьев. - Не то я выбрал себе занятие. Мне бы объездчиком быть, лесовиком!

Объездчик засмеялся, а Баулин тотчас сказал:

- Ну что ж, пожалуйста! У нас временно есть свободное место.

- На девятом кордоне, - подсказал объездчик. - Вместо Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там, на кордоне, глухомань, болота...

- А что ж! - ответил Леонтьев. - Пожалуй, сговоримся?

- Сговоримся, - согласился Баулин.

Анфиса думала о Коле. Через год он окончит Лесной институт и будет работать в таких вот местах. И, может быть, она... Анфиса покраснела. Что она? Выйдет за него замуж? Во всяком случае, она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она не знала этого. Ей было только грустно, что Коля не сидит сейчас рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она попадет когда-нибудь с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но уже не этот, а совсем другой. А этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить сначала.

Шофер закричал снизу, что пора ехать.

Объездчик заставил девушек взять на дорогу по ржаному коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные.

Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет.

Баулин повел Анфису и Тату в комнату к Марии Трофимовне. На самом деле это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что прострогали рубанком. Внутри пахло стружками.

Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату.

Потом, подумав, спросила:

- У вас мыло земляничное? Или детское?

- Детское, - ответила Тата.

- Дадите умыться?

- Бери, мойся.

Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском.

- Вот это девочка! - засмеялась Тата.

А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась.

- Эй, Манька! - раздался издали сердитый женский голос. - Утрись сейчас же, безобразница! Чего еще выдумала!

- Сейчас, маменька! - пискнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода. - Вот спасибо! поблагодарила она, крепко вытерлась, подобрала куклу и ушла.

- Слушай, Анфиса, - сказала Тата, все еще смеясь, - что кругом за прелесть! Умирать не надо.

В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел портрет Чайковского, а под ним - фотография крестьянской избы. На скамейке около избы сидела старуха - очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком.

Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста.

За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Мария Трофимовна и что означают эти два портрета - Чайковского и красивой старухи, висящие рядом в ее комнате.

- Мария Трофимовна - лаборантка в нашем лесничестве, - ответил Баулин. - А вы, оказывается, проницательная девушка! Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой и нет. Эта старуха мать



Марии Трофимовны, Аграфена Тихоновна Самойлова. Тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в нее: и глаза такие же, да и строгость, как она сама говорит, у нее материнская. Сейчас Аграфена - бригадирша у себя в колхозе, в Калининской области. А ей уже шестьдесят лет, не меньше. Она дочь лесника, да и ее муж, отец Марии Трофимовны, был тоже лесным объездчиком. Так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там, у матери. Уехала в отпуск.

- А Чайковский при чем? - спросил Леонтьев.

- Это у них в семье вроде предания. Отец Аграфены служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковский жил как-то летом. Чайковский часто заходил к отцу Аграфены. Тогда ее еще звали попросту Феней. Феня каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметили на фотографии сережки? Это Чайковский подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке - по небольшому алмазу. Аграфена надевает эти серьги только по праздникам. Будто Чайковский увидел Феню во время слепого дождя... знаете, когда дождь при солнце. На ушах у Фени блестели капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же сережки, как эти дождевые капли. И выполнил свое обещание.

- Романтическая история! - заметил Леонтьев.

Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес.

Может быть, это и случилось как раз в тех местах, где произошла история с Феней и сережками?

После обеда пошли в лес, в сторону девятого кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он и Баулин говорили об этом как о деле решенном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился:

- Не боги горшки обжигают! Как-нибудь справлюсь.

Лес становился глуше и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях неезженной дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву.

Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот - копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болота решено впредь не трогать: они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник.

- Я все-таки не совсем понимаю, - сказала Тата, - в чем смысл заповедника.

Она сидела на низеньких перилах моста, покрытых желтыми лишаями. Вода в канаве, коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвои и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно раскинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни.

- В чем смысл? - удивился Баулин. - Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой хотя бы небольшую часть природы, с ее растениями, зверями и птицами. Для изучения. А затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду: на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы. Вопросов множество. Но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного. Но будет много. И называются они странно.

- Как? - спросил Леонтьев.

- Вы удивитесь, конечно. Называются они "лесами эстетического значения". Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье. Их государство тоже охраняет.

- Леса эстетического значения, - повторил Леонтьев. - Интересно!

Они помолчали. Луч солнца прорвался через чащу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится. В ней сверкнула золотым боком какая-то рыба.

- Тут карасей развелось видимо-невидимо, - заметил Баулин.

- Вы знаете, - сказал Леонтьев, - я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке и все одинаковые. Как солдаты в строю.

- Старый спор! - усмехнулся Баулин. - Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека и его вмешательство приносит только вред.

- Я этого не говорю.

- Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят. Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их

словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. Сто лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербургом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу! Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины? А ее необходимо исправить.

- Вот энтузиаст! - сказала Тата. - Разве человек может исправить географию?

- Не только может, а просто обязан.

Леонтьев тотчас представил себе будущее.

Он едет в скором поезде Ленинград - Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнает знакомые степи.

Поезд проносится через тенистые рощи. По склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом встает впереди синий лес. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чашу листвы, цветов, трав и солнечного света, золотящего могучие стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли на севере - там он неотделим от хмурых пространств, - влетает в опущенные окна вагонов, смешавшись с воздухом близкого южного моря.

Это уже совсем не та Россия, что описана в толстых томах девриеновского издания.

- Да... - сказал Леонтьев. - Мне бы только дожить!

- До чего? - спросила Анфиса.

- До окончания одной книги. Понимаете?

- Не очень, - ответила Анфиса.

Но Леонтьев ничего ей не объяснил.

В лесу засиделись до сумерек. Солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло во все небо нежный свет своей закатной зари и ушло за лесной край, в туманы.

В воде канавы острым огнем загорелся Юпитер. Анфиса подняла глаза от отражения Юпитера и нашла его в небе, как раз над вершиной тонкой сосны. Он посылал свой огонь земле через сотни световых лет, как безмолвный и прекрасный свидетель законов мироздания. Казалось, все вокруг существовало, чтобы внушить человеку ощущение красоты земли и сказать ему, как он должен быть счастлив своей судьбой. На гибкую ветку ольхи села маленькая птица и закачалась, как на качелях. Качаясь, она то застилала свет Юпитера, то снова его открывала. Анфиса не могла отвести глаз от этого зрелища.

- Темнеет, - сказал Баулин. - Пора домой.

Анфиса подумала, что пора не домой, а пора остаться здесь, лицом к лицу с этой лесной ночью, с ее тишиной, россыпью звезд, все яснее проступавших на небе, с последними отблесками заката.

Но она только вздохнула и пошла вслед за всеми в лесничество.

## МАТЬ И ДОЧЬ

Июль в этом году был похож на август. Перепадали частые дожди, и на березовых листьях появилась первая желтизна. С запада прояснилось, и чистая заря долго горела над лугами. Эти луга были далеко видны с бугра, где стояла деревня Бартенево - родина Марии Трофимовны.

Мария Трофимовна ходила в луга вместе с матерью Аграфеной Тихоновной убирать сено. Сенокос запоздал из-за дождей. Надо было пользоваться каждым ясным днем, чтобы ворошить сено и сгребать его в копны.

Аграфена жаловалась, что вот, мол, в кои-то веки единственная дочь приехала в отпуск отдохнуть, а вместо этого мучит себя, изводит тяжелой работой.

Но Мария Трофимовна ничуть не уставала. В лугах всегда дул ветер, трепал пестрые подолы и платки, путал волосы. Марии Трофимовне нравилось идти с граблями вровень с товарками - колхозницами, замужними женщинами, перекликаться с ними, слушать их рассказы о своих бабьих делах. Женщины дружно завидовали Марии Трофимовне, ее красоте, легкому стану и, видимо, гордились ею, своей сверстницей. Со многими из этих женщин Мария Трофимовна бегала когда-то в сельскую школу.

По вечерам Мария Трофимовна часто сидела с Аграфеной на скамейке около своей избы. Изба стояла на самом юру. С него, по словам Аграфены, было видно "половину России". Действительно, вид был широкий: за лугами

блестела извилистая речка, за ней желтели пологие пажити, стояли деревни, а за ними закрывал кругозор темный лес.

Всегда на скамейку кто-нибудь присаживался, и начинался неторопливый, спокойный разговор. Спокойствие это исходило, казалось, от бледных далей, примолкшего вечера и от луны, что косо поднималась над лесом и светила прямо в глаза.

В усадьбе, где жил когда-то Чайковский, недалеко от Бартенева, сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов.

Раз в месяц старые музыканты устраивали в доме концерт и всегда приглашали на него Аграфену - единственную жительницу тех мест, знавшую и помнившую Чайковского. Один из таких концертов совпал с пребыванием Марии Трофимовны в родном селе, и Мария Трофимовна была на нем вместе с Аграфеной.

Аграфена начала волноваться за несколько дней до концерта, дольше обычного засиживалась на скамейке около избы, все вздыхала, плохо спала по ночам. Волнение это передалось и Марии Трофимовне. Она тоже просыпалась ночами и слышала, как Аграфена ворочалась на постели.

Ночь тускло светила в окна. От печки пахло теплой глиной. Сонно кричал сверчок. Мария Трофимовна легко вздыхала от ощущения покоя, долго лежала с открытыми глазами и думала. О чем? Чаще всего о счастье. Она перебирала в памяти все, что люди считают счастьем: любимую работу, дружную семью и многое другое, но ей казалось, что этого мало. Она была убеждена, что для полноты счастья нужно что-то еще, но это "что-то" все время ускользало из ее сознания. И только уже засыпая, когда трудно было разобрать, что происходит на самом деле, а что снится, она просто чувствовала это "что-то".

Это всегда оказывалось чем-то самым простым, привычным, но все же удивительным. Иногда это был слабый синий блеск на стекле, все время переливавшийся и падавший откуда-то издалека, пока Мария Трофимовна не догадывалась, что у оконного переплета спокойно горит звезда.

"Звезда полей, - думала она. - Путеводная звезда". И ей уже виделось сквозь сон, что она идет ночью под этой звездой по луговой дороге в маленький глухой городок и знает, хотя сама и не видит себя, что лицо у нее бледное от счастья, потому что идет она к самому любимому человеку, несет ему свое сердце, и если бы ей сказали, что он никогда не жил на свете, она бы упала и умерла от отчаяния.

Глухой городок. Там сторож отбивает на колокольне часы и в гостинице чадит в коридоре свеча. Но эта гостиница и этот городок сейчас для нее самые

родные места на свете, потому что она знает: здесь, за темными окнами, спит он, избранник ее души, поэт, гонимый судьбой, перед которым будут преклоняться сотни поколений. Он загорелся и погас в русской ночи, как пламень падучей звезды.

Ведь это же ей, ей он сказал: "Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет".

Она стоит ночью около гостиницы, гладит кирпичную холодную стену, и у нее разрывается сердце оттого, что он не знает и никогда не узнает всей силы ее любви. Потому что он давно умер, убит на дуэли под Пятигорском. Но если бы он был жив... Если бы он был жив...

Аграфена вполголоса спросила: "Ты что не спишь?" Но Мария Трофимовна не слышала старушечьего шепота. Сон вел ее все дальше, к далекому морскому гулу, и гул этот затихал в непроглядной темноте.

Мария Трофимовна проснулась с ощущением легкости на душе и, слушая пение пастушьего рожка, улыбнулась про себя. Она не могла вспомнить своих ночных мыслей, но главное от них осталось и наполнило все ее существо тем "что-то", что и было, должно быть, счастьем.

Утром того дня, когда был назначен концерт, Аграфена вынула из сундука свое лучшее платье темного старого шелка. Мария Трофимовна выгладила его, повесила пока что на стене избы, и вся изба от этого платья стала наряднее. Потом Аграфена достала с самого дна сундука синюю коробочку, где лежали в вате сережки, подаренные ей Чайковским.

Мария Трофимовна осторожно промыла и выполоскала сережки в теплой мыльной воде, вытерла их, и они засверкали так ярко, будто собрали в избу весь свет летнего дня.

Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покраснела, - сережки ей очень шли.

— Вот помру, - сказала Аграфена, - останутся эти сережки тебе. И ты их носи, не снимай. Они как раз для тебя, для молодых твоих годов. Я бы их и сейчас тебе отдала, да нельзя: дареное при жизни дарить - обидно это тому, кто дарил!

На концерте Аграфена сидела тихая, спокойная. Изредка она теребила бахрому нарядной шали, черной с алыми розанами, и все смотрела на портрет Чайковского на стене, на его серые строгие глаза.

"Глаза строгие, - думала она, - а сам-то был такой уж добряк, что другого

такого не сыщешь".

Мария Трофимовна изредка поглядывала на мать и любовалась ею. Аграфена помолодела, зарумянилась, сережки светло поблескивали в ее загорелых темных ушах.

Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так и эти звуки вызывали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумье, любовь.

Постепенно одна мысль завладела Марией Трофимовной - мысль о том, как велик мир, как он разнообразен, как удивителен человек и как чудесно, что она существует именно сейчас и делает все, что в ее слабых силах, для украшения и обогащения земли, для того, чтобы людское существование становилось легче, разумнее, справедливее и прекраснее.

"Этого ты хотел? - спрашивала она про себя, глядя на портрет Чайковского. - Да? Этого? Значит, желание сбылось, и твое имя будет гореть сотни лет, не тускнея. Потому что ты затронул у человека самое лучшее, что ему дано, - стремление к совершенству".

С концерта возвращались поздно. Была, вся в звездной игре, холодная ночь. И этот край, где все было так знакомо, показался сейчас Марии Трофимовне совершенно иным - не то что загадочным, а новым.

Чуть белели песчаные косогоры в лесу, и с озера, со стороны Рудого Яра, долетел протяжный и непонятный звук, как будто там трубил лось.

- Никогда еще я так не отдыхала! - сказала Мария Трофимовна. - Тебе не холодно, мама?

- Неужто ж я не привыкла? - ответила Аграфена. - Я за тебя беспокоюсь. Очень ты от жизни волнуешься, Маша, хоть на вид ты и спокойная. А это, говорят, худо: от этого люди меньше положенного срока живут.

- А иначе и жить не стоит, мама, - ответила Мария Трофимовна.

- Да оно, пожалуй, и так, - засмеялась Аграфена. - Без интереса, без любви - куда уж хуже!

## ГЛУХОМАНЬ

Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз.

Так-так, так-так! - торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко, одним дыханием протрещал сверчок и замолк.

Эти звуки существовали рядом. А за стеной избы - где-то далеко-далеко - проходил непрерывный гул, медленный, похожий на рокотание моря. Там шумел лес.

Голова была совсем свежая, спать не хотелось.

"Ну вот, - подумал Леонтьев, - сбылось наконец то, о чем я мечтал!" А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы.

Сбылось все очень просто. Баулин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с девятого кордона, Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне - никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец, чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагало к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий, и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле.

Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников: соединение добродушия и проницательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова, копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора.

Да, сбылось!

Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом будто десятилетие свалилось с плеч.

Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого существования - без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте.

В первый же день Леонтьев чисто-начисто вымыл сторожку. Вода была рядом в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал ее оттуда и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сколотит на берегу дощатый помост. С него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый челн, - Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде.

Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной.



Как только в печке затрещал огонь, неизвестно откуда появился серый худущий кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать.

Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворча на воображаемых врагов и завистников.

Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в поставец в углу, книги разложил на дощатой полке. Новое жилище все больше ему нравилось.

Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш. И поймал себя на мысли, что удивительно приятно перебивать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить и потом выпарить: получится пушистая и белая столовая соль.

Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было запасено много. В сарайчике лежали лопаты, грабли, плетенные из лозы вентеры, висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. "Какая почти невесомая и красивая вещь!" - подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилица. Все было исправно, сделано "на совесть". Хороший, должно быть, мужик этот Прохор Стерлигов!

Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташевым на Парижской выставке, и раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки.

Он накидал в самовар сосновых шишек. Тотчас из трубы вырвался алый язык пламени. Труба загудела.

Леонтьев вытащил из печи ухватом чугунок с готовым кулешом и вышел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и крякал от наслаждения.

Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот.

"Робинзон и Пятница!" - подумал Леонтьев и усмехнулся.

Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами.

Густой туман курился над болотцами. Он был так резко очерчен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в

этом тумане.

Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину, все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безыменные озера, пущи, отрезанные от мира туманами, сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверно, гораздо теплее, чем на земле, тусклую воду болот, заброшенные дороги - весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывала, все прятала тихая темнота.

Странно и удивительно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере - желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанная ягодой. Ночь погасила цвета. Но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркие, чем днем, потому что эту яркость придаст им роса.

В этот вечер впервые после многих лет Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он почти шутя напишет то главное, чего раньше не мог, как ни мучился, передать множеством слов.

Он подумал и написал:

"Я посвящаю эту книгу России. Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающая сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и жалеешь единственно о том, что отпущено так мало времени для жизни. Век бы не умирать!"

Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать, не задевая кота. А прогнать кота он не решался.

Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату, вспомнил, как они загрустили, когда наутро им пришлось уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань.

Он подумал, что вот он пишет о своей стране, никем, по существу, не любимый, а это очень плохо. И, печально усмехнувшись, подумал еще, что если бы был молод и полюбил, то какую бы удивительную книгу наверняка создал.

На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой.

С первого же дня он начал работать: прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку. На ней было много сухого хвороста.

Леонтьев стал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал.

Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз, - и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара.

Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает вызревание хлебов. В 1915 году, когда в сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока.

Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева. Хоть и городской и, говорят, писатель, а обходительный человек и, глядя по рукам и комплекции, мужик сноровистый и здоровый.

Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они наперебой угощали его махоркой и жалели, что он сразу попал не на "светлый кордон", а на "самый глушняк". Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все же не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку трубочного табачку, - больно уж он был духовитый.

Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал:

- Да вас и учить нечему, Сергей Иванович. Все правильно. Только, боюсь, заскучаете.

- Ну вот, - чуть не рассердился Леонтьев, - уж и заскучаю!

Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать.

С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья. Роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок.

Как-то, возвращаясь днем из лесу, Леонтьев увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом. У него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерлигов? Почему же его не предупредили?

Леонтьев подошел к дому.

На крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья.

Старика Леонтьев узнал: это был лесник с соседнего кордона, Евтей. А женщина была незнакомая.

Но все же у Леонтьева отлегло на душе: Стерлигова с ними не было.

- Здорово, хозяин! - бодро сказал низенький старичок. - Все ходишь, а тут гости тебя дожидаются.

Женщина крепко пожала Леонтьеву руку.

- Я Мария Трофимовна. Вот приехала, привезла вам кое-какие продукты... и новые правила пожарной охраны.

- Спасибо, очень рад, - сказал Леонтьев и смутился.

- Кстати хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница. И почитательница. Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно.

- Я тоже так думаю.

- Скучаете?

- Нисколько.

- Что ж, это хорошо, - промолвила Мария Трофимовна и замолчала.

Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие и светлые глаза, тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, густые и тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся.

Надо было напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар.

- А мы, милоч, - сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдца, - несколько заплутались. Даже удивительно! Весь этот лес я насквозь

знаю, а тут - такая оказия! Не иначе как леший запутал. Он любит с нашим братом побаловаться.

- Будет тебе врать, Евтей! - сказала Мария Трофимовна.

- Зачем врать! - обиделся Евтей. - Ежели бы ты лешего встрела...

- А ты встречал?

- Милая, - огорченно воскликнул Евтей, - да я их всех в лицо знаю!

Мария Трофимовна засмеялась.

- Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь! сердито сказал Евтей. - А поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься. Ты, главное, не пугайся. У лешего наружность обыкновенная. Мужичок и мужичок. Вроде меня. Только у меня черный волос еще кой-где остался, а он весь сивенький.

Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась.

- Они, лешие, любители ночью к кострам подходить, - спокойно объяснил Евтей. - Подойдет, обопрется на посошок, посмотрит, скажет: "Ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее. А то долго ли до беды!" Заботливый старичок! Так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуется. Больше на ревматизм они жалуются.

- Что за прелесть старик, правда? - тихо спросила Леонтьева Мария Трофимовна.

- Кости, говорит, ноют, в плечо отдает, и надоело мне, милый человек, ваших баб по гушам пугать. Сказать тебе не могу, как надоело. Тут, конечно, спросишь его - вежливо, понятно, спросишь: "А зачем это вы, гражданин, баб пугаете? Какой в этом резон?" А он, понятно, отвечает: "Эх ты, а еще объездчик государственного лесхоза! Неужто не знаешь? Лес я от бабьей потравы стерегу. Бабам только дай волю - они все ягоды оберут, до последней, семечка не оставят". Ты, конечно, слухай его, но не прекословь. Я один раз посмеялся так-то над лешим, сказал ему: "У меня, говорю, как я есть человек, на руке пять пальцев. А вы, лешие, шестипалые. Что это означает?" А он говорит: "Это означает наше различие". А я говорю: "Спорить я с вами, гражданин, не буду. Может, это и для различия сделано, но только шестой палец вам ни к чему. Я со своими пятью управлюсь ловчее, чем вы с шестью". Он, конечно, рассерчал. Ка-а-ак ударит посошком по костру! Ка-ак загукает! Я вскочил - и давай лататы. С тех пор он на меня злобится. То с пути собьет, то лаптей старых на ветках повешает невесть сколько, чтобы меня, значит, пугать. То шишкой

запустит в загревок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, понятно. А я виду не показываю, что сердчаю. Его от этого еще пуще злость разбирает. Однако со мной он не совладеет. Я тоже старик тертый.

- Да тебя, Евтей, записывать надо! - воскликнул Леонтьев.

– Меня записывать - бумаги не хватит. Я вот так погужу, порасскажу чего-нибудь, посмешу людей - и самому весело. Когда человек смеется, он зла не делает.

- Это правильно, - сказал Леонтьев.

Евтей обернулся к Марии Трофимовне:

- Слышишь, что человек говорит! А ты меня коришь: "будет врать-то" да "будет врать". Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной соврет - гляди, и работа у тебя пошла веселее, и засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему.

После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла, прочла: "И свежий лес шумит при звуке ветерка..." Захлопнула книгу и сказала:

- Как-нибудь дадите мне почитать? У меня с собой нет здесь Лермонтова.

- Конечно, когда захотите. Вы любите его?

- Больше всего на свете.

Леонтьев хотел расспросить Марию Трофимовну о ее матери, о Чайковском, но не решился, отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе.

## ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ

День был знойный. В небе как застыли на одном месте, так и простояли до ночи тугие облака. Ближе к закату солнце вошло в лиловую мглу и раскаленным диском опустилось к земле.

Ночь не принесла пролады. Почему-то не выпала роса. Наутро, выкупавшись в озере, Леонтьев почувствовал раздражение. "Заболел я, что ли?" - подумал он.

Днем над соснами появилось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Задул порывистый ветер, зашумел лес. Где-то высоко прогремел гром.

Надвигалась гроза.

Гроза была сухая. Короткий гром гремел все чаще. Молнии не ударили в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым светом.

Лесные чащи напряженно гудели. С сухим треском обламывались сучья. Протяжно скрипели сосны. Потом в этот разноголосый гул вошел рокот мотора.

Самолет шел низко. Он вырвался из-за сосняка, снизился, густо заревел и сделал круг над сторожкой, ложась на крыло. Потом взмыл, ушел, а невдалеке от сторожки упал на землю маленький мешок с песком. К нему была привязана красная лента. Ветер подхватил ее, и она трепетала, как пламя.

Леонтьев подбежал к мешку. Сбоку, в кармане мешка, он нащупал листок бумаги, вытащил его, развернул и прочел:

"Немедленно сообщите в лесничество! На двенадцатом квартале пожар. Загорелось от молнии. Огонь верховой. Идет по ветру на северо-восток. Лечу на аэродром. Мешает гроза".

Леонтьев в первую минуту растерялся: бежать в лесничество или к месту огня? Пожар, по расчетам Леонтьева, шел стороной. Только в случае если ветер изменится, огонь может перебраться и к нему, на девятый кордон.

Леонтьев услышал свист крыльев, поднял голову: с лесных болот большими стаями летели дикие утки. "Спасаются", - подумал Леонтьев.

Он снова перечитал записку и решил идти в лесничество. Он быстро пошел по заросшей дороге.

Ветер усиливался. По временам долетал уже запах гари. Леонтьев вышел на просеку, посмотрел вдоль нее, остановился, и сердце у него заколотилось: в конце просеки стремительно несло по земле густой желтый дым.

Леонтьев побежал. Он пробежал сто - двести шагов, останавливался, чтобы отдышаться, и бежал снова. С отчаянием он думал, что до лесничества еще далеко, а огонь под таким ветром идет, должно быть, со скоростью десяти километров в час.

Он услышал шум машин и остановился. Из-за поворота вынырнул грузовик с людьми, за ним - второй, третий...

Леонтьев закричал. Первый грузовик замедлил ход. Баулин открыл дверцу кабины и крикнул:

- Скорее! В кузов!

Леонтьев схватился за борт. Несколько рук протянулось к нему, его втащили в машину.

В машине тесно сидели рабочие, лесники, были навалены лопаты, пилы, топоры и метлы из толстой проволоки, чтобы гасить кусты и траву.

Леонтьев достал записку, протянул ее в окошко кабины Баулину. Баулин прочел и крикнул Леонтьеву:

- Пожар не верховой! Дым желтый. При верховом бывает черный.

"Тем лучше", - подумал Леонтьев.

Он знал, что самый страшный лесной пожар - это верховой, когда деревья горят целиком, от вершин до подножия. При таком ветре, как сейчас, верховой пожар так стремителен, что на языке лесников называется "ураганным огнем".

При низовом пожаре горят подлесок, подстилка, кусты и молодые деревья. У старых деревьев огонь только опаляет нижнюю часть стволов. И в такой сильный ветер низовой пожар менее опасен. Его лесники называют "беглым". Он идет быстро и оставляет нетронутыми целые куски леса. Огонь, подгоняемый по пятам ветром, не успевает их выжечь.

- Что ж так мало людей? - спросил Леонтьев знакомого лесника.

- Уже все колхозы поднялись, все население, - ответил лесник. - Они тут будут часа через два.

Машины остановились в перелеске, затянутом дымом. С последней машины соскочила Мария Трофимовна. Она была в сапогах, в короткой юбке и кожаной куртке. Она издали помахала рукой Леонтьеву.

Уже вечерело, и сумеречное небо подернулось багровым отсветом пожара. Ветер все не стихал.

Вышли на узкую просеку. Сначала Баулин распорядился расширить эту просеку. Люди начали быстро валить лес, но прискакал верховой объездчик, потный, весь в саже, и доложил, что огонь идет с таким напором, что просека его не остановит.

- Остается одно, - сказал, помолчав, Баулин, - встречный огонь.

Леонтьев заметил, как переглянулись лесники, когда слышали эти



слова. Раньше он смутно представлял себе, что такое "встречный огонь", но не догадывался, что эта мера связана с опасностью для людей.

Баулин отдавал распоряжение коротко и спокойно.

Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие деревья и сваливать их вместе с сухим валежником в высокий, во всю длину просеки вал.

В поздние сумерки, когда зарево осветило даже облака и залило красноватым светом все вокруг, появились крестьяне из окрестных деревень. Работа пошла быстрее. Баулин торопил. Вал быстро рос.

Взглянув вдоль просеки, Леонтьев увидел сотни работающих людей. Женщины собирали хворост и сносили на вал. Сверху набрасывали сухую хвою.

Потом сразу, одним ударом, из леса выдохнуло дым. Он несся низко по земле и перехлестнул через вал.

- Береги-ись! - протяжно закричали издали.

Баулин приказал надеть противогазы.

Женщин отослали в глубину леса, под защиту соседнего озера. Туда же ушло и большинство колхозников. Около вала остались одни лесники. Они стояли вдоль вала шагах в сорока друг от друга. Среди них стоял и Леонтьев. Все ждали.

Баулин подошел к Леонтьеву, стал спиной к ветру, оттянул противогаз и сказал:

- Уходите в лес, к озеру. Туда, где все. Вам здесь нечего делать.

Леонтьев отрицательно покачал головой.

- Нельзя рисковать. Если бы вы были обыкновенным человеком...

- Я и есть обыкновенный, - глухо ответил Леонтьев, не снимая противогаза. - Оставьте меня в покое.

Баулин ничего не ответил, повернулся и пошел вдоль просеки.

Огонь быстро приближался. Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то непонятным восторгом смотрел на бьющую в небо с треском и гулом

стену живого огня. Ливнем летели искры. Они прожигали одежду. Временами дым заволакивал небо. Потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе.

Леонтьев не мог отвести от нее глаз. Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. Огонь сожжет их так же незаметно, как пламя костра сжигает кошмару.

Он подумал об этом, но не двинулся с места. На лице и руках он уже чувствовал палящее дыхание пожара. Он снова взглянул на огонь, но это было страшно, и он тотчас посмотрел выше, на небо, где летели горящие сучья и листья, а еще выше смутно виднелся сквозь дым молодой месяц.

Когда он опустил глаза, что-то изменилось.

Несколько мгновений он не мог сообразить, что же это, пока не заметил, что ветер стих и весь огонь пошел вверх гудящим светоносным занавесом.

Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. С верхушки вала понесло в огонь сухие листья. Баулин поднял руку, что-то закричал, и лесники сразу подождгли вал.

Вал как бы вздохнул, вымахнул от края до края жадное пламя. Оно слилось с огнем пожара и, ревя и треща, ударило в небо.

Люди начали отбегать в лес. Мария Трофимовна пробегала мимо Леонтьева. Она оттащила его от огня и тотчас куда-то исчезла.

Леонтьев оглянулся. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно сливаясь, расшвыривая мириады искр. Казалось, вот-вот огонь двинется дальше и от него уже никому не спастись.

И вдруг Леонтьев вскрикнул от неожиданности. Огонь, как подрезанный, упал на землю и только низкими языками перебежал, затихая, вдоль вала. Люди кинулись к просеке и начали засыпать песком вялое пламя. Через несколько минут огня уже не было. Только едкий дым быстро струился к небу и застилал свет месяца. Все было кончено.

Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. Что произошло? Почему пожар сразу погас?

Леонтьев разыскал Баулина. В лесу было темно. Лесники ходили с фонарями.

Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не

погаснет.

- Сергей Иванович, - оживленно сказал Баулин Леонтьеву, - а огонь-то подходил и к вашему участку! Если бы не просека, та, что вы расчистили, сгорел бы и девятый кордон. В общем, здорово справились!

- Не могу понять, - сказал Леонтьев, - почему встречный огонь погасил пожар. Раздули такой костер, что, кажется, пылал весь мир.

- Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу, действительно раздуть его до невиданных размеров. Тогда в окружающем воздухе сразу сгорает почти весь кислород, просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно, гаснет... А теперь идите домой, отдыхайте.

- Сейчас. Вот покурю и пойду.

Только теперь Леонтьев почувствовал усталость. Глаза слезились. Кожа на лице саднила. Руки были в смоле и ожогах.

Около машин сидели на земле лесники, рассказывали, как перед встречным огнем через вал скакали зайцы, а вдоль вала промчалось несколько волков. И, говорят, огонь загнал в Линёвое озеро трех медведей; они еще сидят в воде и режут от страха.

Леонтьев пошел к себе на кордон. Чем дальше от пожарища, тем воздух делался свежее. Уже слышался запах влажной травы. Только месяц был все же мутен, зловещ. Долетали голоса крестьян, возвращавшихся по домам после пожара.

Леонтьев догнал нескольких женщин. Среди них была Мария Трофимовна. Они шли вместе до межевого столба и молчали. Мария Трофимовна сказала всего несколько слов: похвалила его книги, спросила, как он себя чувствует в объездчиках и почему кашляет - не повредил ли на пожаре легкие. У межевого столба они расстались. Мария Трофимовна пожала Леонтьеву руку:

- Не прячьтесь, приходите. Я буду вам очень рада.

Леонтьев постоял, пока не стихли голоса женщин, и свернул к себе на кордон. Дома он умылся, тотчас лег и, засыпая, слышал, как кот осторожно топтался около его головы по подушке, потом свернулся у него на плече и запел.

Так-так, так-так, так-так! - стучали ходики, отмеряя время.

Леонтьеву приснился желтый по осени лесной край. Солнце и луна стояли рядом на небе над этим краем, и весь день по дворам голосисто пели петухи. Он шел по дороге среди березового мелколесья, очень торопился, почти бежал, и ему встретился офицер в пропыленном мундире, маленький, черный, с темными смеющимися глазами. Фуражку он держал в руке. Она была полна спелой брусники. Офицер высыпал бруснику на ладонь и подкидывал в рот пригоршнями.

- Куда идешь, дружище? - спросил офицер.

- В Пронск. А что?

- Да ничего, - ответил офицер. - Там у меня старики свой век доживают. Увидишь их - скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали.

Леонтьев остановился, во все глаза посмотрел на офицера, крикнул:

- Вы кто?

Офицер отступил, споткнулся, упал, брусника рассыпалась по траве, и почему-то рядом с офицером очутилась Мария Трофимовна. Она подняла его голову. Из груди офицера крупными, как спелая брусника, каплями стекала на песок кровь.

- Скорее! - закричала Мария Трофимовна. - Подымите его!

Они вдвоем подняли офицера - он был легкий, как мальчик, - и понесли по дороге. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому что леса горят, пожар может пересечь дорогу, а этого человека надо спасти.

- Вы что ж, любите его? - спросил Леонтьев.

- Больше всего на свете!

Леонтьев проснулся. За окнами светало. Сон еще не прошел, сознание вернулось только наполовину, и Леонтьев все слышал голос: "Куда идешь, дружище?"

Леонтьев снова заснул, а утром, окончательно проснувшись, долго ходил под впечатлением этого сна, пока наконец не догадался, что встретился во сне с Лермонтовым.

Он достал с дощатой полки томик его стихов, открыл наугад и прочел:

Проселочным путем люблю скакать в телеге

И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень...

- Великан! - сказал Леонтьев и положил книгу на место.

К вечеру неожиданно приехала из лесничества вместе с Баулиным Мария Трофимовна.

- Проведать вас решили, - сказал, смущенно улыбаясь, Баулин. - Как вы тут после пожара? Мария Трофимовна говорит, что вы сильно кашляете.

- Пустяки. Немного горло першило. От дыма.

Баулин пошел на озеро выкупаться. Леонтьев сидел на ступеньках крылечка рядом с Марией Трофимовной. Она задумчиво жевала травинку, потом повернулась к Леонтьеву, посмотрела ему в лицо строгими глазами и сказала:

- Я приехала за книгой... за Лермонтовым.

## РОВНЫЕ СТРУЖКИ

К осени в лесничестве начали строить плотину для небольшой гидростанции. Строили ее на реке, в пяти километрах от девятого кордона. Леонтьев часто ходил на стройку.

Он несколько раз бывал на строительствах, привык к зрелищу изрытой земли, кучам щебня и глины, навалу бревен.

Здесь же его удивляли порядок и забота о том, чтобы не повредить ни одного деревца. Баулин придирчиво следил за тем, чтобы рабочие берегли окрестный лес, чтобы материал подвозили к плотине по одной дороге, а не прокладывали для этого десятки дорог, как вздумается шоферам, и не обдирали без нужды деревья.

Леонтьев любил немного посидеть на стройке и полюбоваться работой плотников. Здесь он часто встречал Евтея.

Лучше всех плотников работал косматый пожилой Федор. В корявых его руках топор превращался в крылатое сказочное существо. Это было тем более

удивительно, что самокрутку из махорки Федор сворачивал медленно, с натугой, чертыхаясь, - то рвалась газетная бумага, то самокрутка расклеивалась и махорка высыпалась на землю.

Уже издали, подходя к плотине, Леонтьев слышал дробный стук топоров. Евтей обычно сидел на бревнышке около плотников, покуривал. Он здоровался с Леонтьевым, подмигивал на плотников и говорил:

- Стучат наши дятлы!

- Стучат, - соглашался Леонтьев.

Чтобы стесать бревно, Федор сначала делал насечки. На топор он совсем не глядел, морщился от махорочного дыма, но насечки клал быстро и ровно. Потом Федор одним длинным ударом снимал толстый слой дерева, и в сторону отлетал смолистый пахучий горбыль.

- Здорово тешешь! - говорил Леонтьев.

- По-касимовски! - отвечал Федор. - Главное, хороший струмент надо иметь. А обтесать - дело десятое.

- Глазомер еще нужен, - замечал Леонтьев.

- Как и во всяком деле, - соглашался Федор.

- В твоём занятии тоже без глазомера ни черта не получится.

- В каком это занятии?

- В письменном. Мне сын зимой книжки читает. Я этого дела большой любитель. Сразу видать, как книга притесана. Иная просто впритык, а иная заподлицо. Сколько ни гляди, а где швы, не отыщешь.

- Также труд великий! - вздыхал плотник Илларион - худой, болезненный, никогда не снимавший бараньей шапки. - Кто топором, кто плугом, кто циркулем, а кто и словом. Каждый по-своему дает предназначение жизни.

- А в чем оно заключается, - хитро спросил Евтей, - предназначение жизни?

Плотники на минуту перестали тесать, вопросительно посмотрели на Евтея.

- То-то! - сказал Евтей. - Предназначение жизни! Каждое слово имеет свои рамки, а ты, Илларион, видать, мелешь - сам не понимаешь что. Какое,

например, мое предназначение? Щи хлебать да махорку курить? Или есть во мне другой смысл?

- Тебе виднее, - пробормотал Илларион.

- Вот и видно мне, - сказал Евтей, - что человек не для себя существует, а для движения жизни. Ты что же полагаешь, что я за одну свою зарплату лес стерегу? Хватай выше! Я хоть и неученый, а котелок у меня варит. Ты скажешь, закон такой, чтобы лес стеречь. Правильно! А кто этот закон выдумал? Человек. Вот я тебя и спрашиваю: для чего?

- Каждому это известно, - сердито ответил Федор. - Любому дураку ясно. Что ты нас спозаранку учишь! - Он в сердцах ударил топором по бревну, косо срезал слой, отшвырнул топор, плюнул и закричал: - Не гуди под руку! Из-за тебя бревно покалечил, старый черт! Нам работа, а ему, видишь, побаски, развлечения! Профессор какой! Иди лес свой стереги. А мы и без тебя управимся, без твоей науки. Небось полено расколоть не может, а суется указывать!

- Это ты еще не подросток - так со мной разговаривать, - спокойно ответил Евтей, затоптал самокрутку и встал. - Я те покажу, как дрова умею колоть.

Он обернулся к Иллариону:

- Давай топор!

- Чего ты?

- Топор давай, говорю! Надо спесь с Федора малость сшибить.

- Это как? - спросил озадаченно Федор.

- А вот так! По часам. Часы есть? - спросил Евтей у Леонтьева. - Ты гляди, сколько кто из нас за полчаса стешет. А потом проверим по мерке и на глаз, у кого чище работа.

- Это ты брось, друг, - строго сказал Федор. - За каждое бревно я в ответе - не ты. Ты мне здесь игру не устраивай! Здесь не ярмарка.

- Значит, смущаешься? Не осилишь?

Федор мельком, но презрительно посмотрел на Евтея:

- Ох и распетушился ты, дед! Прямо наскაკиваешь.

- Я не таких плотников, как ты, переплевывал, - сказал Евтей и снял старый пиджачок. - Знаменитости из себя не строй.

- Прочитать тебя надо, вот что! - гневно ответил Федор. Только потому и берусь. Ну, давай! Становись!

- Вот-вот! - закричал Евтей, засучивая рукава рубахи. Давай!

Он поплевал на руки, подбросил топор, поймал его на лету и звонко ударил по дереву. Полетели смолистые щепки. В ту же минуту ударил и Федор.

Чем дальше, тем яростнее работали Евтей и Федор. Щенки летели все чаще. Одна из них больно ударила Леонтьева по руке. Он отступил. Илларион, приоткрыв рот, смотрел на Евтея.

Федор бил стремительно, нахмурившись, дышал трудно, со свистом. Евтей ухал и покрикивал:

- Так-то, касимовские! Так-то!

Леонтьев следил за этим стремительным состязанием. Стук топоров все учащался, сливался в тугую дробь. Леонтьев не сразу заметил, что позади собрались рабочие и подошли Баулин и Мария Трофимовна.

- Крой! - кричали рабочие. - Крой, Федя! Не отступай!

- Нас не перекроешь! - хрипел Евтей.

- Ну и чешет старик! Вроде мотор!

Рабочие хохотали.

Баулин потянул за руку Леонтьева, но тот только замотал головой, - он не отрываясь смотрел на часы.

- Стой! - закричал Леонтьев и поднял руку. - Стой! Время!

Стук топоров оборвался. Евтей тщательно вытер рукавом потный лоб и сплюнул.

Федор отбросил топор и дрожащими пальцами начал свертывать самокрутку.

- Вот, товарищ начальник, - сказал, отдышавшись, Евтей и обернулся к Баулину, - смотрите, кто больше да лучше стесал. Ваше слово решительное.



Все притихли.

- Чего там смотреть! - хрипло сказал Федор, ни на кого не глядя. - И так видно. Твоя взяла, дед. Удар у тебя верный.

- Давай руку! - воскликнул Евтей. - Я хоть и стар, а кое-чем располагаю.

Евтей и Федор протянули друг другу руки.

- Вот и хорошо! - засмеялся Евтей. - Я тебе отныне мешать не стану. Ни-ни! Ни капельки! Ты, Федор, своего дела, конечно, артист, только больно горяч.

- Ладно уж! - согласился Федор. - Приходи-ка к завтраму. Еще раз померимся.

- Прийти можно. Мне вот охота и с Илларионом схватиться.

- Куда уж там! - смущенно пробормотал Илларион. - Мне бы свою норму обтесать - и то спасибо.

- Неужто меня не осилишь? - спросил Евтей.

Илларион снял шапку, поскреб в затылке, подумал:

- Это как сказать... Может, и осилю.

- Куда тебе, Илларион! - снисходительно заметил Федор. - Против меня ты куда слабже. Не срамись.

- Это как сказать! - повторил Илларион. - Может, я и против тебя срамиться не соглашусь. Ты не суди, что я с наружности квелый. Я такой с малых лет.

- Растравил старик плотников, - сказал Баулин Леонтьеву, когда они вместе с Марией Трофимовной подошли к реке, чтобы посмотреть, как копер заколачивал в дно реки сваи. - Такой задиристый, черт, никому не дает покоя!

Поглядев, как работает копер, Мария Трофимовна пошла вниз по берегу реки. Евтей доложил вчера в лесничестве, что километрах в четырех ниже плотины, на девятом кордоне, есть свежие бобровые норы. Надо было их осмотреть и отметить.

Леонтьев отправился вместе с Марией Трофимовной. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов и журчанием воды около коряг. День был яркий, прохладный в тени. С листьев орешника брызгала роса. Река

уходила в лес крутыми поворотами. На рудых песчаных ее берегах над омутами густо цвел меж сосен розовый вереск.

Долго шли молча - Мария Трофимовна впереди, Леонтьев сзади. Несколько раз Мария Трофимовна оглядывалась на Леонтьева, и он каждый раз усмехался про себя: вот он, простой объездчик, сопровождает Марию Трофимовну по своему кордону, и она каждую минуту может сделать ему замечание.

Так оно и случилось. Мария Трофимовна остановилась и сказала:

- Что ж это вы? Не заметили бобровых нор на своем участке? Евтей вас опередил. Вроде как Федора.

Леонтьев пожал плечами и промолчал.

- Посидим здесь на берегу, - неожиданно сказала Мария Трофимовна. Какая тут теплота! И тишина...

- Сказочная река, - сказал Леонтьев, садясь рядом с Марией Трофимовной.

- Да... сказочная.

Мария Трофимовна помолчала.

- Вы скоро уедете?

- Недели через две. Стерлигов выздоровел, на днях возвращается.

- А почему бы вам не остаться? Поживите у нас в лесничестве.

- В Ленинграде дела.

- Странно, - промолвила Мария Трофимовна. - Совсем вы не похожи на делового человека.

- Да я и не деловой, - засмеялся Леонтьев. - Я не так выразился. Просто в Ленинграде у меня работа. Времени у меня впереди мало, а я не сделал еще и половины того, что хочу... и могу, - добавил он неуверенно. В конце концов писатели не принадлежат себе. Они принадлежат всем.

- Значит, и мне? - спросила Мария Трофимовна и улыбнулась.

- Отчасти и вам.

- А я думаю - наоборот, - ответила Мария Трофимовна, глядя ему прямо в лицо потемневшими глазами.

- Я не совсем вас понимаю, - сказал Леонтьев. - Что "наоборот"?

- Как же не понимаете? - вполголоса, почти шепотом, ответила Мария Трофимовна, все так же глядя на Леонтьева. - Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных вещей. Не вы принадлежите людям, а иные люди принадлежат вам. Вас, должно быть, много любили в жизни?

Мария Трофимовна ждала ответа, но Леонтьев промолчал.

- Конечно, любили, - сказала Мария Трофимовна. - Да и как вас не любить! - добавила она и покраснела.

- За что? - спросил Леонтьев, тут же понял, что не надо было спрашивать, смутился.

- Ни за что. Просто за то, что вы есть на свете.

Мария Трофимовна быстро наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскочила и быстро пошла, не оглядываясь, вдоль берега.

Вечером Леонтьев возвратился к себе на кордон. На столе лежал томик Лермонтова, тот, что Мария Трофимовна взяла у него после лесного пожара. Значит, она приходила на кордон.

Леонтьев перелистал всю книгу по страницам, но ничего не нашел - ни записки, ни подчеркнутых у Лермонтова строк. Он подумал, что все равно эту книгу отдаст Марии Трофимовне насовсем.

"Вот и все! - сказал про себя Леонтьев. - Эх ты, чуткий, хороший писатель! Неласковый ты человек, вот что!"

Он подошел к столу, где лежала рукопись его нового, неоконченного рассказа, медленно изорвал ее на клочки и без всякого сожаления выбросил в печку. Ему стало легче на душе, будто, наказав самого себя, он снял со своей души великий грех непонимания чужого сердца.

## ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПАРКИ

Квартира профессора ботаники Петра Максимовича Багалея на Аптекарском острове, в Ленинграде, отличалась многими хорошими качествами. Она выходила окнами в Ботанический сад, в ту его часть, которая

была закрыта для посетителей. Поэтому в квартире всегда было тихо и в комнатах стоял зеленоватый полусвет от листвы.

Комнаты были заставлены таким множеством вазонов с цветами, ящиков с рассадой, плошек, где выращивались редкие растения под стеклянными запотевшими колпаками, что казалось, в квартире столько же зелени, сколько и в саду, за ее стенами.

Самой интересной комнатой был, пожалуй, кабинет Петра Максимовича, с низким потолком и множеством одинаково переплетенных книг. Петр Максимович любил поражать по вечерам гостей и студентов одним приемом. Он вводил гостя в полуосвещенный кабинет, приглашал садиться в кожаное кресло и незаметно зажигал ослепительную люстру.

Яркий свет превращал кабинет в уголок цветущего растительного мира. Вазоны с карликовыми соснами стояли прямо на полу. Тут же склонялись плакучими ветками карликовые ивы. На столе цвели оранжевые и белые цветы с мечевидными листьями. На стенах висели под стеклом высушенные травы, венчики цветов и листья, не потерявшие естественного цвета, очень яркие и самых причудливых форм. Все краски, которыми природа в таком изобилии, с таким бесконечным числом оттенков и с таким безупречным вкусом наделила растения, были собраны здесь, как в волшебной шкатулке.

Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был подвижной, бритый, в выпуклых очках, с несколько удивленными добрыми глазами. Страсть к ботанике соединялась у него со страстью к коллекционированию. Он собирал разные ботанические редкости.

Особенно гордился Петр Максимович отполированным срезом ствола восьмисотлетнего мамонтового дерева. Около слоев, нараставших в те годы, когда в мире происходили великие события, Петр Максимович прикрепил маленькие медные дощечки. На них было выгравировано: "Год открытия Америки", "Смерть Ньютона", "Правление Петра Первого", "Пожар Москвы в 1812 году" - и так далее, вплоть до таблички "Октябрьская революция". Дальше слоев уже не было, так как дерево было спилено в 1918 году.

Петр Максимович был вдовец. Детей у него не было. Хозяйством заведовала его сестра Полина Максимовна, совершенно незаметная горбатенькая старушка.

Этим летом Коля остался на практике в Ленинграде и работал с Петром Максимовичем над вопросом об озеленении городов и о создании вокруг городов, заводов и рабочих поселков зеленых лесных поясов и парков.

Работе этой придавалось особенное значение. Социалистическое государство требовало превращения пыльных и душных городов в города-сады.

Новая планировка городов обязательно заключала в себе обширные сады, бульвары, парки, пруды и пригородные заповедные леса.

Петр Максимович всегда занимался со студентами по тщательно обдуманному плану.

Прежде всего надо было выяснить, как влияют на жизнь города сады, парки и пригородные леса. Мало было сказать, что они поглощают из воздуха убийственную для человека углекислоту, которая накапливается в огромных количествах в городах, что они уменьшают силу ветров, поглощают пыль и газы, усиливают солнечное сияние, дают отдых, радуют глаз, повышают тонус жизни. Все это надо было доказать.

Петр Максимович сейчас и занимался этим с помощью нескольких студентов, своих учеников. Каждому вновь найденному доказательству он радовался, но радость свою выражал обычно ядовитыми высказываниями по поводу неумения людей "жить по-человечески".

Коля никогда не встречал такого неумолимого противника городов. В этом отношении Петр Максимович явно преувеличивал. По его словам, ничего не могло быть вреднее, чем города, эти скучные и нездоровые гнезда для нескольких миллионов людей, теснящихся на ничтожном клочке земли, тогда как просторная и пригодная для жизни земля расстилается совсем рядом.

- Биологический возраст человека составляет в среднем полтора года лет, - говорил Петр Максимович, - а люди современных цивилизованных стран живут только половину этого времени. Вторую половину их жизни ворует город.

Петр Максимович всегда ссылался при этом на Лондон, как на самый "отвратительный" город в мире.

Тяжелый дым, висящий над Лондоном, приглушает солнечный свет. А кроме того, туманы. Установлено, что знаменитые лондонские туманы вызваны к жизни главным образом каменноугольным дымом. Чем больше дыма, тем чаще и гуще туманы. О чудовищном количестве дыма, заволакивающего Лондон, говорил простой подсчет количества сажи, сыпавшейся с неба на этот угрюмый город. Подсчет показал, что на каждый квадратный километр Лондона выпадает за год четыреста тонн сажи.

Легкие у лондонцев не розовые, а черные. Нигде в мире так не развиты туберкулез и рахит. Недаром эта болезнь и называется "английской".

Петр Максимович так убедительно говорил об оглушенном, отравленном, обреченном на преждевременное умирание человеке, тоскующем

по воздуху лесов, по солнцу, что вчуже становилось страшно за этого человека.

У нас этого не должно больше быть и не будет. Петр Максимович знакомил студентов с проектами перепланировки старых и планировки новых городов, где зеленые рощи подходили вплотную к домам и заводам и вклинивались в жилые кварталы.

Он посвящал студентов не только в науку лесонасаждения, но и в необыкновенно сложное и увлекательное искусство разбивки садов и парков, когда деревья сажаются с таким расчетом, чтобы они давали разные планы освещения, чтобы многоцветная по оттенкам листва радовала глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеняло пурпур других, а лиловатость третьих создавала законченное обрамление.

Это было забытое дело, опыт его никто не обобщал. Благородство садового искусства чрезвычайно волновало Петра Максимовича. Петр Максимович не ограничивался разговорами. В свободное время он ездил со студентами в парки Пушкина, Гатчины, Павловска.

Он показывал своим ученикам "в натуре" великолепие этих мест, созданных трудом и талантом человека, совершенство заранее обдуманых насаждений.

Здесь все, вплоть до цвета коры, мощности стволов и обширности водных зеркал, удваивавших торжественный пейзаж, действовало с гармонической силой и вызывало душевный подъем - наилучшее, как говорил Пушкин, расположение для восприятия впечатлений и для передачи их окружающим, - иначе говоря, вызывало то вдохновенное состояние, которому мы обязаны появлением великих творений искусства.

Петр Максимович говорил, что в эти парки надо бы силой приводить тех консерваторов-ученых, которые до сих пор твердят, что вмешательство человека в жизнь природы уродует ее и ослабляет ее естественные силы.

О каком уродстве может идти речь в этих блистательных парках создания человека? Чем они хуже девственных, нетронутых лесов? Наоборот, они лучше их, здоровее, прекраснее. Их рост не подвержен случайностям, какие часто встречаются в природе.

Петр Максимович поручил этим летом Коле интересную работу. Нужно было выяснить, как леса и парки влияют на состав воздуха и чистоту его в городах. Прежде всего Коля занялся изучением лесов как загрязнений против пыли. Ленинград окружен сосновыми лесами. Надо было начинать с сосны.

Студенческое общежитие при институте закрылось на ремонт, и Петр Максимович предложил Коле переехать пока к нему в комнатку, где хранились

гербарии. Коля с радостью согласился.

Целые дни он проводил в городских парках и на островах, а иногда ездил за город в окрестные леса. Приходилось определять густоту хвои и листвы на деревьях, чтобы выяснить, как выражался Петр Максимович, "пылезащитные свойства разных древесных пород".

Работа была сложная, кропотливая, требовала расчетов и вычислений.

Приближалось время, когда могла приехать Анфиса. Стоило Коле подумать об этом, как тотчас начиналась путаница в вычислениях.

Каждый день Коля ходил на почтамт, куда Анфиса обещала прислать телеграмму до востребования. Но телеграммы все не было.

Коля не мог придумать, как устроить Анфису в Ленинграде. Где она будет жить? В гостинице дорого, да и трудно получить место, а родственников ни у Анфисы, ни у Коли в Ленинграде не было. И, как назло, погода стояла холодная и сырая. Только изредка просвечивало солнце, согревало воздух, и тогда ленинградцы вспоминали, что лето еще не прошло.

Коля заканчивал свою работу. Он подсчитал, что площадь хвои, нависающей в воздухе над гектаром земли, равна тридцати гектарам.

Если всю хвою старой сосны разложить по земле в одну ниточку, то она протянется на двести километров. Эти цифры сами по себе говорили о том, каким непроницаемым для пыли пологом является хвоя сосны. А листва деревьев и кустарников задерживала еще гораздо больше пыли, чем сосна.

Потом Коля занялся вычислением количества пыли в разных районах города - в тех, где совсем не было зелени, и в тех, где были сады. Он сравнивал эти цифры с количеством пыли в пригородных лесах. Оказалось, что на Елагином острове с его густыми садами пыли было в пятьдесят раз меньше, чем около Нарвской заставы, а в пригородных лесах - в тридцать раз меньше, чем на Елагином острове.

Наконец, когда работа уже близилась к завершению, Коле подали на почтамте телеграмму.

"Приехала десятого остановилась квартире писателя Леонтьева Фонтанка 28 жду Анфиса".

Откуда взялся этот писатель?

Коля зашел в парикмахерскую, побрился, посмотрел на себя в зеркало:

худой, загорелый и почему-то все время улыбается.

Он отправился на Фонтанку. Ему не верилось, что сейчас, в этом ставшем ему родным городе, он увидит Анфису. Год назад, когда он проходил по этим улицам, Анфисы не было еще в его жизни, сердце его было пусто.

Коля разыскал в глубине третьего двора двухэтажный особняк, поднялся по мраморной лестнице и, немного помедлив, позвонил.

За дверью залаяла собака, послышались тяжелые мужские шаги. Дверь открыл плотный, с обветренным лицом, седоватый человек в коричневой фуфайке. Это был Леонтьев.

– А! - радостно сказал он, будто виделся с Колей уже сотни раз.

Наконец-то! Коля Евсеев! Анфиса вас второй день дожидается. Пойдемте.

Леонтьев отворил дверь в большую комнату, залитую дымным солнцем. В этом солнце стояла Анфиса, придерживаясь за притолоку. Она улыбалась, глядя на Колю. Сейчас она была гораздо тоньше и взрослее, чем год назад в Ливнах.

Они пожали друг другу руки, минуту молча смотрели в глаза, потом застенчиво поцеловались.

- Ну вот, видишь... - сказала Анфиса, и рдеющий румянец появился у нее на щеках. - Вот видишь, мы и встретились. Сядем здесь, поговорим.

Они сели на тахту, покрытую ковром. Леонтьев куда-то исчез и прикрыл за собой дверь.

- Ну как ты? - спросил Коля.

Анфиса хотела ответить, но тотчас за дверью заскреблась и заскулила собака - она требовала, чтобы ее впустили. Анфиса встала, открыла дверь. В комнату вошла, кляцая когтями по паркету, кривоногая такса с недовольной мордой.

- Я очень рада, - сказала Анфиса.

- Чему? - спросил Коля.

Такса чихнула, стукнулась мордой об пол, подошла к закрытой двери и опять начала скулить - проситься, чтобы ее выпустили. Анфиса встала,



выпустила таксу и закрыла за ней дверь.

- Всему, - ответила, возвращаясь, Анфиса. - Ты знаешь, я все не решалась ехать в Ленинград.

Такса снова заскреблась в дверь, повизгивая и подвывая.

- О господи! - сказала с досадой Анфиса и опять впустила таксу.

Такса подошла к тахте, начала подпрыгивать, чтобы взобраться на нее, но это ей не удавалось. Тогда такса пронзительно заскулила. Коля взял ее за шиворот и посадил на тахту. Такса сердито заворчала.

- Почему же ты не решалась? - спросил Коля. - Я так тебя ждал!

- Правда? - радостно спросила Анфиса.

Такса тяжело спрыгнула с тахты и заковыляла к двери. Она ткнулась мордой в дверь, оглянулась на Анфису и заскулила.

- Ну и характер! - с отчаянием сказала Анфиса, порывисто встала, открыла дверь и вытолкнула таксу.

Обиженная такса начала отчаянно лаять. Тогда появился Леонтьев, взял ее за шиворот, унес в ванную и там запер. Такса тотчас начала выть.

- Ну, погоди! - пробормотал в коридоре Леонтьев. - Я с тобой еще посчитаюсь, чертовка!

- Знаешь что, - предложила Анфиса, - пойдем лучше побродим по улицам. Она нас замучит. Не понимаю, как только Сергей Иванович ее терпит!

В передней смущенный Леонтьев пытался их удержать, но не очень настаивал, так как понимал, что такса может вывести из себя даже влюбленных.

Он отпустил Анфису и Колю, но взял с них слово, что они вернутся к обеду.

А такса, сообразив, что гости уходят без нее, отчаянно скребла дверь в ванной и визжала.

На лестнице Анфиса и Коля остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

- Нет, - сказал Коля, - здесь жить невозможно.

- Это только в первый день, - ответила Анфиса. - Потом она привыкнет.

Они прошли в Летний сад. Он был полон солнечным светом до вершин старых лип. Никто бы не поверил, что стоит уже конец августа, если бы на землю не слетали листья, покрытые слабой позолотой. Небо над городом было таким ярким, будто соседнее море отдало ему весь свой блеск, а само стало от этого блеклым и прозрачным, как и подобает северному морю. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке золоченой иглой мерцало легендарное Адмиралтейство.

Трудно передать, о чем они говорили. О театральной школе и поездке в Казань, о знакомстве с Леонтьевым, о родном городке, который казался сейчас таким далеким, как во сне, о Нине Порфирьевне, Петре Максимовиче, о Чайковском и старухе Аграфене Тихоновне, о лесничестве, о Колиной работе в будущем, пока Коля не сказал, что они никогда, никогда не должны надолго расставаться, а Анфиса ответила, что об этом не надо даже говорить.

Потом Анфиса искоса взглянула на Колю и спросила:

- Ты понимаешь?

- Да.

Есть минуты, когда сразу меняется значение слов. Так и теперь.

Слова возникали, тонули, исчезали, сменялись другими, но каждое самое обыкновенное слово, такое, как "ветер", "улица", "да", "нет", говорило о любви. О том удивительном состоянии, когда неотделимы друг от друга и радость и грусть, а дрожание губ предвещает или смех, или счастливые слезы.

Только к вечеру Анфиса и Коля спохватились и на речном трамвае вернулись с Елагина острова на Фонтанку, к Леонтьеву.

Леонтьев давно их уже ждал. Всего пять дней назад он возвратился из лесничества, где его сменил Прохор Стерлигов, разговорчивый и покладистый старик.

В лесничестве его провожали как своего, звали обязательно приехать на будущий год, а Мария Трофимовна и Баулин даже проводили его до города и посадили на пароход. Они долго стояли на высоком берегу, пока пароход не скрылся за поворотом реки.

Солнце садилось в лугах. Пыль, поднятая стадом, золотилась над берегом, и долго еще было слышно с палубы парохода требовательное мычание коров.

Мария Трофимовна стояла неподвижно, а Баулин долго махал кепкой.

Сейчас, в Ленинграде, Леонтьев никак не мог войти в колею городской жизни. Среди всяких занятий и забот он вдруг вспоминал свою работу в лесу, заросшую вереском дорогу, стук ходиков в сторожке, рассветный туман над болотцами, пожар, сон о Лермонтове, свой разговор с Марией Трофимовной на берегу реки - и его охватывала тоска. Все, что было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему очень милым, родным. Мысли о Марии Трофимовне он сначала всячески гнал от себя, но вспоминал о ней все чаще, пока наконец не понял, что эта женщина вошла в его жизнь и уже никогда не уйдет.

Леонтьев почти до слез обрадовался неожиданному приезду Анфисы и первое время все не мог сообразить, как она разыскала его в Ленинграде, хотя сам дал ей на пароходе свой адрес.

Распоряжалась в доме Леонтьева чистенькая старушка родом с реки Свири. Он звал ее "нянюшкой" и подсмеивался над ней. А старушка очень его почитала, хотя и жаловалась Анфисе, что Леонтьев "не хочет входить в свои лета".

- Так вот весь свой век, - горестно говорила старушка, - чемодан то укладывает, то раскладывает. Ездит и ездит, бог с ним совсем! А теперь, к примеру, рассказывает, что служил в лесу объездчиком. Уж и не знаю верить ай нет?

- Правда, служил, - подтвердила Анфиса. - Я там была, знаю.

- И к чему это мученье! Мало ему книги писать, так нет, во все надо соваться. А человеку уже шестой десяток.

На следующий день Коля с Анфисой и Леонтьевым пошли к Багалею.

Петр Максимович внимательно посмотрел на Анфису и сказал, что после знакомства с ней он прощает Коле некоторые ошибки в вычислениях площади поверхности хвои. Анфиса не совсем поняла, о чем говорит Петр Максимович, но смутилась.

Петр Максимович показал, конечно, все свои редкости и был весьма доволен восхищением Леонтьева. Узнав, что тот служил объездчиком, он очень это одобрил и тут же завел разговор о том, что писатели зачастую делают совсем не то, что нужно, слишком возятся с психологией и пренебрегают другими удивительными явлениями жизни.

- Ведь психология, по существу, мало меняется, - говорил он, сердясь. - Любовь, ревность и все прочее повторяется из века в век. Получается рутинка.

Леонтьев усмехнулся.

- Вы не согласны? - запальчиво спросил Петр Максимович.

- Конечно, нет. Психика людей меняется очень заметно. Но это ничуть не опровергает ваших слов о новых темах в литературе. О чем, по-вашему, следовало писать? Ну, хотя бы в том деле, которым занимаетесь вы.

- Да тысячи тем! Для всего. Для рассказов, повестей, романов. Даже для сказок.

- Вот не думал! - нарочно, чтобы подзадорить Петра Максимовича, сказал Леонтьев.

- Именно для сказок.

Вы знаете, когда мы, лесоводы, сажаем сосновые леса, то кто для нас собирает самые отборные сосновые шишки, лучшие семена? Белки! Мы просто отыскиваем склады шишек, припрятанные белками на зиму, и отбираем их. Грабим, конечно, зверьков. Но зато есть полная уверенность, что лучших семян вы нигде не найдете.

Леонтьев так увлекся разговором с Петром Максимовичем, что засиделся до полуночи. По дороге домой он сказал Анфисе, что обязательно будет писать книгу о лесах и что перед этой темой "надо снимать шапку".

Перед отъездом из Ленинграда Анфиса поехала с Колей в Пушкин.

Коля хотел показать Анфисе тамошние парки.

День был прохладный, уже осенний - "в полсвета". Солнце не давало полного сияния. Тени на земле лежали неясные, размытые.

Приглушенное освещение накладывало на все сероватую дымку. Почему-то эта дымка, и увядающие сады, и побледневшее небо вызывали ощущение легкой печали.

Это чувство преследовало Колю и Анфису весь день, до тех пор, когда заходящее солнце наполнило сады золотым блеском. Сонная гладь прудов отразила этот блеск, придав ему вечернее неколебимое спокойствие.

До этого Коля с Анфисой долго сидели перед памятником юному Пушкину.

Анфиса облокотилась на скамью и, задумавшись, смотрела на поэта. А Пушкин, тоже опираясь на тонкую бронзовую руку, смотрел на Анфису, как бы обдумывая легкий мадригал в честь этой девушки, пришедшей его навестить.

К вечеру на фигуру Пушкина тоже лег закатный свет. Юношеский порыв его легкого тела говорил о мечтательной и шутливой молодости.

Казалось, что Пушкин вот-вот спрыгнет на землю, подойдет к Анфисе и Коле, сядет с ними рядом и заговорит о садах, Лицее, поэзии.

Весь этот день Анфиса чувствовала необыкновенное волнение.

Она спрашивала себя: что же это такое, почему она так волнуется, почему боится вечера, когда придется проститься с этими садами?

Она никак не могла определить свое состояние и знала только одно: что этот бронзовый Пушкин, и полукруглый фасад Лицея, и Камеронова галерея, меркнущая в багрянце листвы, и могучие стволы лип, к которым хотелось прижаться щекой, как прижимаются к лицу родного человека, и блеск воды, и сумерки, и первое простодушное мерцание звезд - все это связано чем-то общим, единым, и если исчезнет одно из этих явлений, то померкнет и все остальное.

Так, ощущая все это, но не находя своим ощущениям названия, она всем существом переживала совершенную гармонию окружающего.

Пришла ночь, но Анфиса и Коля не хотели уходить. Они еще долго прощались с парком, прошли несколько раз по глухим аллеям и мостикам над прудами.

Сады стояли как бы в оцепенении. Ночная их тишина хранила в своей глубине шуршание листа, слетающего на траву с вершины дерева, всплеск крытого фонтана, вздох спящей птицы, беззвучное течение знакомых строк, которое слышишь ты один: "Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой..."

Где-то очень высоко еще угадывался последний - густой и лиловый блеск небосклона. Но тьма уже завладела садами окончательно и полновластно.

И в этой темноте остался наконец один только звук - звон воды, льющейся из разбитого кувшина бронзовой девушки.

**ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ**

Зима прошла в трудах, в работе над книгой, а в июне Леонтьев решил снова поехать в лесничество, к Баулину.

Не было, пожалуй, такой области в стране - от Уссурийского края до Одессы и от Баренцева моря до Самарканда, - где бы Леонтьев не побывал за свою жизнь. Но лучшего места, чем заповедный лес и свой девятый кордон, он не встречал. Там все было ему мило, все успокаивало, все казалось таким родным, как материнский дом, когда мы возвращаемся в него уже взрослыми и искушенными жизнью.

У Леонтьева была обычная человеческая слабость - затягивать приближение того, что доставляло ему счастье.

Ожидание хорошего всегда волновало его и уже само по себе давало ему радость. И на этот раз он скрывал от себя, что самую большую радость испытывал от ожидания встречи с Марией Трофимовной.

Поэтому он поехал в лесничество не по железной дороге - через Москву, а на пароходе - через Свирь, Мариинскую систему и Череповец.

В дорогу он взял несколько книг, которые мог читать и перечитывать бесконечно: письма Чехова и описание растительности Советского Союза. Эту последнюю книгу написал молодой талантливый ученый Кожевников. Леонтьев читал ее с таким же интересом, как мальчишки читают романы путешествий и приключений.

За Вытегрой пошли по берегам леса и переменились пассажиры. Исчезли последние горожане. Пароходом завладели лесные люди: заготовители живицы, лесорубы, охотники, медвежатники, землемеры. На палубе заговорили о подсочке, скипидаре, выволочке леса - трелевке, о том, что нынче рано зацвела сосна, о мелкослыности древесины, борьбе с майским хрущом, подгрызающим корни молодых сосен, и о прочих не менее интересных вещах.

В Белозерск пароход пришел утром. Над Белым озером лежал туман. Вся палуба и пристанские сооружения были покрыты обильной росой. Роса эта не высыхала, хотя солнце уже поднялось высоко.

В Белозерске стояли долго. Леонтьев пошел побродить по городу. Он дошел до самой окраины, где за последним бревенчатым домом начинался кочкарник, поросший березками, сел на лавочку у ворот, закурил. Тотчас из дома вышел мальчик лет четырнадцати, белобрысый, без шапки, застенчиво одернул ситцевую рубаху, поздоровался с Леонтьевым и, искоса на него поглядывая, начал чинить развалившийся мостик через придорожную канаву, отдирая лезвием топора прогнившие доски.

- Учишься? - спросил Леонтьев.

- В шестом классе, - ответил мальчик, не оглядываясь.

- Много читаешь?

- Да как придется. Я летом больше читаю. Зимой некогда.

- А кого же ты из писателей любишь?

- Я всяких люблю. - Мальчик отложил топор и, улыбаясь, посмотрел на Леонтьева. - Пржевальского люблю. И Льва Толстого. И еще люблю французского писателя Гюго.

- А из теперешних?

- Горького, - ответил мальчик, - и Леонтьева.

- Кого?

- Леонтьева. Вы разве его не читали? Он про охоту пишет и про всякие наши области. Я как его книгу прочту, так мне сразу хочется сесть на паром да и поехать подальше. А вы не ленинградец?

- Да, - ответил Леонтьев, - ленинградец. Но что-то не слыхал я про такого писателя Леонтьева.

- А я вам сейчас покажу, - сказал мальчик и убежал в дом.

"Вот так случай! - сказал Леонтьев про себя и засмеялся. - Встреча с читателем!"

Леонтьев часто встречался с читателями, но эта встреча с мальчиком особенно его обрадовала и растрогала.

Мальчик вынес Леонтьеву зачитанную, пухлую его книгу, изданную давным-давно в Ленинграде.

- Прочтите непременно, - сказал он. - У нас все его читают. Даже бабушка, а ей семьдесят лет. Она у нас бывшая учительница. Ходить ей уже трудно. Она весь день сидит в саду и читает... Вы в Белозерске живете?

- Нет. Я проездом. С парохода.

- Жалко, - сказал мальчик. - А то бы я вам дал прочитать эту книгу. Здорово написано про растения. Мы ее в школе вслух читали с Петром

Игнатьевичем и решили насадить школьный сад.

- И что же, насадили? - тихо спросил Леонтьев.

- А как же! И всю улицу засадили. Вон, смотрите! Березками. Карнауховские мальчишки две березы сломали. Футбольным мячом. Ну мы их и поколотили! Всем классом. Теперь они только на выгоне и играют.

Леонтьев посмотрел вдоль улицы. Молодые березки шелестели блестящей листвой, бросали легкую тень на деревянные тротуары. Леонтьев почувствовал теплый запах березовой коры.

Что-то сжалось у него в груди, он вздохнул, встал, протянул мальчику руку:

- Ну, спасибо! Мне надо идти. Живи хорошо.

Он пошел на пристань и так был взволнован этой встречей, что ничего по дороге не замечал. "Вот и награда, - думал он. - Лучше мне, пожалуй, и не нужно".

Он был счастлив этой встречей и потому с недоумением остановился, увидев, как из маленького чистого дома с неизменной геранью на окнах выбежала плачущая молодая женщина с растрепанными волосами и, запахивая на груди кофту, начала стучать в дверь соседнего, такого же маленького дома. Она стучала неистово, всхлипывала и не вытирала слез, - они катились по ее щекам, падали на красную кофту и оставляли там темные пятна.

- Что случилось? - спросил Леонтьев.

Женщина обернулась к Леонтьеву, сердито посмотрела ему в лицо серыми заплаканными глазами и сказала:

- Да вы что ж, не знаете? Война началась!

- То есть как? - спросил Леонтьев, чувствуя, что на лице у него появилась напряженная и болезненная улыбка - признак растерянности.

- "Как, как"! - с сердцем крикнула женщина. - Только что Молотов говорил. По радио. Сегодня, на самом рассвете, немцы напали на нашу границу.

- Та-ак! - сказал Леонтьев, глядя на женщину. - Значит, из-за угла?

Он как-то сразу стал холоднее, спокойнее. Ему хотелось успокоить и эту женщину, но вместо всяких утешительных слов он неожиданно сказал:



- Пойдите умойтесь, причешитесь. Нельзя в такое время так...

- Господи! - сказала женщина и густо покраснела. - Я как услышала, вовсе обеспамятела. Бросилась к тете Даше. У нее Миша в армии. Уж вы меня извините...

Леонтьев повернулся и продолжал путь к пристани. Все как-то сразу переменялось - даже солнечный свет и самый воздух. Все окружающее, внешнее воспринималось мимоходом, не задерживалось в сознании: и тихие улочки, заросшие под забором крапивой, и встревоженные люди, куда-то торопившиеся по этим улочкам, и блеск утренней листвы, и мычание коров.

В Череповце Леонтьев сошел с парохода и возвратился поездом в Ленинград.

А через два дня ночью из Москвы приехала похудевшая, бледная Анфиса с незнакомой пожилой женщиной, Ниной Порфирьевной, матерью Коли. Леонтьев встретил их как родных, хотя и видел Нину Порфирьевну впервые. Он тотчас захлопотал со своей старушкой-нянюшкой, чтобы дать гостям умыться, накормить их и устроить им комнату.

Анфиса отвела Леонтьева в сторону, рассказала, что Нина Порфирьевна, как только узнала о войне, тотчас примчалась к Анфисе в Москву, и они обе решили сейчас же ехать в Ленинград к Коле. Его, должно быть, в ближайшие дни призовут в армию.

Потом Анфиса покраснела и извинилась за то, что она ворвалась к Леонтьеву. Но в гостиницах не оказалось ни одного свободного номера.

Леонтьев сначала ее не понял, а когда понял, рассердился.

- Вот не ожидал, - сказал он, - что вы с такими предрассудками! И вы и Коля для меня свои люди, хотя и знакомы мы - всего ничего. Этот дом ваш дом. И чтобы вы мне больше об этом не смели заикаться!

Анфиса взяла руку Леонтьева и тихонько ее погладила.

Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя ночь. В комнату тянуло речной сыростью. Призрачный свет лежал над городом. Гулко отдавались в пустынности улиц шаги патруля.

- Надо выстоять, - сказал Леонтьев. - И сберечь свое сердце. Тогда ничего не страшно.

- Да, - ответила Анфиса, глядя за окно светлыми большими глазами. Да,

Сергей Иванович, - повторила она и, взявшись за раму открытого окна, долго смотрела на белую ночь и на слабый свет зари над Невой и островами.

## АГРАФЕНА

С годами случилось так, что Аграфена начала думать о Чайковском как о родном человеке. Ей все чаще хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, вспомнить старое, но говорить было и некогда и не с кем.

- Дурная я, старая! - бранила себя Аграфена. - Он, может, через год, когда от нас уехал, позабыл даже, как меня звать. Вот уж верно: чем старше, тем дурее.

Пришла война.

Престарелых музыкантов увезли куда-то на восток, дом закрыли, а ключи передали на сохранение Аграфене. Но за недосугом во время войны она в доме ни разу и не была.

Поздней осенью областной город заняли фашисты. Вскоре начала достигать до Аграфениного села отдаленная канонада.

Аграфена захворала: ноги ослабели, стали как ватные. А когда оправилась, начала ходить, уже пришли враги. Так Аграфена и осталась в селе с несколькими маломощными стариками.

Фашисты пришли на серых машинах, с черным оружием, будто они вымазали его болотной грязью. И говорили они по-болотному, будто квакали. Солдатские головы под разлатыми шлемами были похожи на лягушечьи: с тонкими желтоватыми губами и белыми ледяными глазищами. Сапоги у гитлеровцев были, как ведра, - широкие, низкие, гремели на ходу.

В первый же день они деловито повесили на березе свойственника Аграфены, лесника Онуфрия, за то, что застали его на мосту через лесную речушку, когда он подпиливал сваи. Но все равно вышла у фашистов задержка. Мост пришлось разобрать и строить на его месте новый. Для моста солдаты начали валить лес. А дальше - больше, уже валили его целыми кварталами, и так безобразно, что пни оставляли высотой с человеческий рост. Бревна тащили на блиндажи и укрытия. А потом привезли лесопильную машину, начали пилить доски и отправлять их в свой тыл, должно быть в Германию.

Был еще в деревне девятилетний мальчик Пашка. Он заболел, когда все уходили, и остался с Аграфеной. Он прикидывался дурачком, гундосил, приставал к солдатам, кланчил у них невесть что - коробки от сигарет, патроны, пуговицы. Пашка вошел к ним в такое доверие, что солдаты только похохатывали над ним, дергали за вздернутый нос и даже подарили ему

зеленый старый мундир. Пашка лихо носил его внакидку на одном плече, как пиджак. Мальчонка целыми днями шастал по селу и лесу, все разузнавал и рассказывал Аграфене.

Стояло то время года, когда осень уже вылила все дожди, а ветер ободрал с деревьев последние листочки. По ночам уже подмораживало. Сухая земля потрескивала под ногами. Вот-вот начнет сыпать первый снежок.

Были сумерки. Аграфена сидела у окна, не вздувая огня. Очень было смутно жить на захваченной фашистами земле. Смутно и беспокойно. Только в такие поздние сумерки Аграфена отдыхала: темно, никто ее не видит, и так тихо, что слышно, как на краю села брешет собака.

Аграфена решила: если услышит близко топот немецких сапог, тихонько выйдет, прикроет избу и спрячется в сарайчик, там отсидится. Лишь бы фашисты ее не трогали, ничего не кланчили и не приставали с расспросами.

Но на этот раз Аграфена так крепко задумалась, что очнулась, когда солдаты уже вошли в сени. Их было двое. Обоих Аграфена давно уже заметила. Один был худой, горбоносый - не то немец, не то румын. Он говорил по-русски, но чудно, коротко, и, разговаривая, всегда держал руки в карманах шинели и смотрел на Аграфену посмеиваясь. Другой был плотный, в тесном мундире, в сапогах желтой кожи.

Солдаты пришли к Аграфене за самоваром. Переговариваясь и посмеиваясь, они объяснили, что самовар нужен для генерала, потому что у него сегодня праздник: генерал получил от фюрера награду - железный крест - и желает угостить своих гостей чаем из настоящего русского самовара.

- Да где же он, этот ваш генерал? - спросила Аграфена. - В нашем селе никаких генералов нету.

- В лесу, - сказал горбоносый немец. - В старой вилле, что есть в лесу. Там квартирует теперь генерал.

- Ой, - сказала Аграфена, - чего-то вы все врите, путаете! Тот дом давно стоит заколоченный.

Солдаты ничего не стали объяснять, но снова потребовали самовар.

- Да вы его мне распячете! - рассердилась Аграфена. - Небось сроду самовара не ставили.

Солдаты молчали.

- Я сама с вами пойду. Поставлю вашему этому генералу самовар. И обратно самовар заберу.

Вам поверишь - наплачешься. Улетит самовар - ищи потом ветра в поле.

Солдаты были озадачены. Они о чем-то поговорили между собой, даже поспорили, а потом горбоносый сказал:

- Пожалуйста. Прошу. Генерал, будем думать, останется доволен. Старая русская женщина сама подает ему самовар. Как в кино.

Аграфена взяла с собой на всякий случай Пашку. Солдаты осторожно, держа за ручки, несли самовар.

- Пашка, - тихо спросила Аграфена, - неужто в том доме фашисты? Что ж ты мне ничего не сказал?

- В каком доме? В музыкантском?

- Ну да.

- Третьего дня въехали. Я сам только сегодня узнал. Там, должно, штаб. Генерал живет, весь седой, морда как у мерина. И офицеры при нем.

- Ладно, - сказала Аграфена. - Теперь помолчи.

Шли осиновым перелеском. Неизвестно откуда на землю падал серый свет, хотя ни звезд, ни месяца не было. В тишине слышался трепет одинокого уцелевшего на ветке осинового листка.

Потом серый свет вздрогнул, и над землей прокатился пушечный удар. Он долго затихал, закатывался в ночные дали. Солдаты остановились, поставили самовар на землю, прислушались.

- Зо! - сказал солдат в тесном мундире и покачал головой.

Горбоносый закурил, сложив ладони лодочкой, затянулся, сплюнул, но ничего не ответил.

- Смекаешь? - спросила Аграфена Пашку.

- Смекаю, - коротко ответил Пашка.

Дорога пошла вниз, в сыроватый лес, где белел туман. Через болотце был перекинут ветхий бревенчатый мосток.

Когда подошли к мостку, долетел второй пушечный удар. Он встряхнул сырую ночь. Застоявшийся в кустах холодноватый воздух ударил в лицо. По черной болотной воде пробежала мелкая рябь.

И в этом пушечном ударе, похожем на вздох облегчения, были неторопливость и сила.

Аграфена усмехнулась, вытерла рукой сухие губы, взглянула на солдат.

"Что за притча!" - подумала Аграфена. Все свое, знакомое: и низинка эта в тумане, где она девочкой пасла гусей, и мосток, что стоит здесь еще с тех времен, когда жил в лесном доме Петр Ильич и ходил по этой дороге к ним в село, и стог сена, почернелый от дождей, - все свое! И вот идут по этим местам, топчут своими сапогами-ведрами фашисты. "Далеко залетели, голубчики, да посмотрим, где сядут!"

Генерал Штумпф, высокий, с седыми, стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках синими пятнами - следами неизлечимой прыщавости, был весьма доволен наградой фюрера. Он представлял себе, как в скором времени будет сидеть в имперской канцелярии в Берлине на совещании и крест на его груди отразится в полированной поверхности длинного стола. На стол нельзя было даже положить руку - тотчас на полировке появлялось влажное пятно. Оно долго не проходило.

Говорили, что фюрер не выносил этих пятен. Поэтому никто не осмеливался прикасаться к столу. Все сидели вытянувшись и, так как боялись смотреть на яростное, дергающееся лицо фюрера, смотрели на его отражение в столе. Это было безопаснее.

Генерал был доволен еще и тем, что в распоряжение его войск приехал из Берлина крупный лесопромышленник Бальцен.

Сам генерал происходил из семьи почтового служащего и с молоком матери всосал почтение к людям высшего круга. Ему нравилось, что они никогда ничем не смущались, небрежно носили дорогую одежду и имели смелость относиться к некоторым поступкам фюрера с оттенком снисходительности, будто в глубине души знали, что он всего-навсего ефрейтор и главные силы, управляющие государством, находятся в руках не у него, а у них.

Генерал отвел Бальцену лучшую комнату в лесном доме, ту, где, по преданию, жил когда-то известный русский пианист Чайковский.

Бальцен приехал, как он говорил, с тремя целями: отдать дань уважения армии в обстановке войны, совершить несколько экстравагантную прогулку по России и кстати ознакомиться с качеством и размерами русских лесов в этой

части страны в связи с тем, что он получил право на их эксплуатацию для Германии.

Генерал Штумпф знал, конечно, что это "кстати" было главной целью появления Бальцена.

Бальцен объехал всю Северо-Западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался, наконец, почти до передовой линии. Из этого генерал заключил, что Бальцен - человек не только деловой, но и храбрый.

В лесном деле Штумпф ничего не понимал и относился к дереву пренебрежительно. Он считал этот материал малопригодным для военного дела. Железо, алюминий, медь - это да! Это были военные материалы. А дерево только и годилось для ложи винтовок.

За обедом генерал слушал Бальцена вежливо, но равнодушно.

- Итак, мои господа, - говорил Бальцен, обводя круглыми глазами офицеров, - вы, оказывается, не подозревали - да, не подозревали! - какую пользу вам дает древесина. Да! На всякие взрывчатые штуки идут ацетон и метиловый спирт. Эти химикалии изготавливаются из древесины. Да, из древесины, мои господа! Наши враги сейчас озабочены тем, чтобы сжечь и уничтожить немецкие леса. Да, все наши леса! Об этом они говорят и пишут открыто. Леса, где до сих пор живут гномы и поют Лорелеи, расчесывая свои волосы.

Бальцен засмеялся, а Штумпф сдержанно улыбнулся, - человеку в его ранге смеяться было неудобно.

- Они хотят лишить нас ацетона и метилового спирта, чтобы поставить на колени. Они забывают, что у нас в резерве есть русские леса. Мы их вырубим, если понадобится, до последнего дерева.

Генерал знал, что Бальцен может разглагольствовать о своем деле часами. Это было, конечно, утомительно, но с этим приходилось считаться.

Офицеры тоже были не очень довольны болтовней лесопромышленника в серых гетрах. Они перешептывались о предстоящем ужине и о том, что генералу привезли ящик венгерского коньяка.

Но и за ужином Бальцен снова затеял наскучивший разговор о лесной промышленности. По мнению подвыпивших офицеров, это было уже слишком. Лейтенант Кнюпфер, человек с пустыми опасными глазами, сказал:

- Я думаю, что вы прихвастнули, господин Бальцен, когда утверждали,

что сведете все русские леса.

- Мы уже свели десять миллионов гектаров, молодой человек! - с достоинством ответил Бальцен.

- Не вы, а мы! - сказал с угрозой в голосе Кнюпфер. - Мы косим их снарядами и танками, как траву.

- Спокойно! - строго произнес Штумпф.

Всмотревшись по очереди в красные лица офицеров, он понял, что люди взвинчены и может произойти неприятность.

- Мы навалим сосновые бревна до самого неба, - прокричал Кнюпфер, подожжем их и на этом костре поджарим для вас, господин Бальцен, чудовищную котлету!

- Из чего? - спросил майор с бегающими глазами. У него был такой вид, будто он все время ищет на столе самое вкусное кушанье.

- Из штатских мозгов!

- Вы плохо шутите, - сказал Бальцен и обернулся к генералу: - Не правда ли, мой генерал?

- Шутки не входят в обязанности моих офицеров, - ответил скрипучим голосом Штумпф. - Я не могу требовать от них искусства в этом деле. Каждый шутит, как может. Не обижайтесь, господин Бальцен. Фронт есть фронт: люди имеют право несколько отдохнуть от утомительных приличий.

Штумпф понимал, что говорит не то, что нужно, но в голове у него уже шумело и пятна на лице сделались совершенно лиловыми. К черту все! К черту этого Бальцена!

Поднялся шум. В разгар этого шума и подошла к дому Аграфена с солдатами, тащившими самовар.

Шум все время менялся. Сначала он походил на шум скандала.

Было слышно, как офицеры вскочили, начали двигать стульями, кто-то кого-то удерживал, кто-то требовал: "Прочь руки! Пустите меня!" Бальцен несколько раз крикнул: "Обратите внимание, мой генерал!" Потом кто-то захохотал, зазвенело разбитое стекло, все закричали "хайль", и шум сразу перешел в беспорядочный гомон обычной офицерской пирушки.

Солдаты пошептались на кухне с денщиком генерала. Тот пошел

доложить о самоваре и вернулся с ухмыляющимся лицом.

- О, генерал рад! - сказал он.

Солдаты притащили воды, долго и осторожно лили ее в самовар. Очевидно, вся эта история с самоваром казалась им необыкновенно забавной. Особенно после того, как денщик принес начатую бутылку коньяку и они выпили по стаканчику.

Аграфена развела самовар, села на табурет, поправила на голове платок, осмотрела кухню. Самовара ей, конечно, вовсе не было жаль - бог с ним, с самоваром! - а просто она хотела узнать, что натворили гитлеровцы в этом старом любимом доме.

С той минуты, как она узнала, что в нем стали постоем фашисты, у нее начало ныть сердце. А она-то думала, что дом стоит в стороне от дороги, заколоченный, тихий, и его не заметят, не тронут!.. Что тут поделаешь! Как бы еще не спалили спяну. Ишь сколько поставили керосиновых ламп. И как они пылают!

В кухне и во всем доме было жарко. Окна были наглухо завешены. Слоистый керосиновый чад висел под потолком. Дышать было почти нечем. Все полы замараны, затоптаны.

А бывало, при Петре Ильиче, Феня входила в этот дом боязливо, застенчиво. Каждый раз перед этим она мыла в бочке с дождевой водой загорелые ноги, исцарапанные колючками шиповника и малины. Половицы были чистые, поскрипывали. В тех местах, где на пол падало солнце, было приятно ступать босой ногой по теплomu дереву.

День и ночь тогда окна были открыты. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах и полевые цветы, расставленные на столах.

Почти каждый день Феня приносила Петру Ильичу землянику и цветы. Она ходила за цветами в заливные луга и рвала их долго, подбирала всегда одинаковые: то одну ромашку, то кипрей, то подмаренник.

А когда весна входила в полную силу и всю ночь над лесом не потухала заря, Феня пробиралась в усадьбу к Липецкому и рвала там для Петра Ильича сирень.

До чего она была холодная, пахучая, росистая! Прижмешь к лицу пышные ветки - будто умоешься. Принесешь цветы, Петр Ильич возьмет за подбородок, приподнимет зардевшееся лицо, скажет: "Эх ты, сероглазая!" - и обязательно чем-нибудь отдарит.



А потом сядет к роялю, заиграет. Сирень вся задрожит, и роса с нее польется прямо на рояль...

Но тут Аграфена очнулась. Вестовой тронул ее за плечо.

- Генерал лично хочет сказать вам спасибо, - торжественно сообщил горбоносый немец. - Он сильно доволен.

Аграфена запахнула шаль на груди, встала, побледнев. Она гнала от себя мысль, что фашисты пьянствуют как раз в том маленьком зальце, где стоял рояль, в любимой комнате Петра Ильича. Не может этого быть!

Но фашисты пьянствовали как раз в этом зальце. Аграфена вошла, остановилась в дверях и поклонилась, опустив глаза.

Офицеры захлопали в ладоши, закричали, затопали ногами, а вестовой поднес Аграфене на тарелке стаканчик коньяку. Кто-то заиграл на рояле туш.

Аграфена подняла глаза, быстро выпрямилась... Что ж это, господи!

Длинноногий офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их, сколько мог, и играл между ног - колотил, изловчившись, длинными пальцами по клавишам.

- Ах ты охальник! - тихо сказала Аграфена и медленно пошла к офицеру, который все колотил по роялю, похохатывая и подмигивая.

Платок упал с головы Аграфены на плечи. Все увидели ее седые чистые волосы, светлые от гнева глаза, лицо, такое пылающее, будто кто-то дал ей пощечину.

Был у нее холод на сердце, словно шла она на верную смерть и сердце уже знало, что надо делать.

- Ах ты охальник! - громко повторила Аграфена и крепко взяла белобрысого офицера за потный ворот расстегнутого мундира. - Пащенок! Скотина фашистская!

Она рванула офицера за ворот. Офицер упал.  
Круглый табурет покотился по полу.

Фашисты вскочили, а Аграфена наклонилась над офицером, глядя ему в лицо ненавидящими глазами.

Офицер привстал и быстро шарил в кармане рейтуз, ругаясь сквозь зубы. Он вытащил маленький черный пистолет.

- Ах ты скотина фашистская! - так же громко повторила Аграфена.

- Не здесь! - крикнул кто-то из гитлеровцев, но пистолет уже щелкнул резко и судорожно три раза подряд.

Аграфена охнула, отступила, схватилась за рояль, тяжело села на пол.

- Пашка! - крикнула она и захлебнулась. - Пашка, беги!

Аграфена прижала руки к ушам, будто трогала сережки, но их не было, и она застонала. Потом она упала головой на пол. Откуда-то со страшной силой начала валиться на нее горячая тьма, послышался запах гари, приближалась, должно быть, сама смерть. "А я вам, Петр Ильич, сирени нарвала", - не то подумала, не то вслух в последний раз сказала Аграфена и затихла.

Когда Пашка услышал крик Аграфены: "Пашка, беги!" - он вскочил и, плохо соображая, что делает, смахнул со стола лампу и бросился к дверям. Он успел выскочить во двор, кинулся наугад в лес, в кусты, споткнулся, упал и притих. Весь дом гудел от криков.

Пашка оглянулся. В окнах кухни полыхал багровый огонь. Кто-то выбил раму, и черный дым уже валил наружу, перемешиваясь с языками пламени.

Солдаты вытащили из дома пьяного генерала, потом начали вытаскивать какие-то ящики. Все кричали, суетились, и только горбоносый солдат, тот, что нес самовар, стоял, засунув руки в карманы, смотрел на горящий дом и насвистывал. Потом в доме что-то начало взрываться - должно быть, гранаты.

Пашка отполз подальше от дома, тихо плача, вытирая глаза рукавом старого немецкого мундира. "Баушка, - шептал он и захлебывался слезами. А баушка!"

Пашка лежал, уткнувшись лицом в палые листья. Земля была холодная, и что-то в ней шуршало - должно быть, жуки зарывались перед зимой поглубже, копали теплые норы.

Все чаще долетали пушечные удары. Пашка поднял голову, прислушался, осторожно встал. В небе загорался и гас смутный мгновенный блеск. Пашка постоял, подумал и решил в село не возвращаться: фашисты часто видели его вместе с Аграфеной, и если поймают, то обязательно убьют.

Лесной дом, должно быть, сгорел дотла - уж очень он был сухой и

маленький. В том месте, где он стоял, лес чуть светился, будто там догорал костер.

Пашка выбрался в темноте на опушку, на высокий песчаный обрыв. В лесу было тихо, а на обрыв с лугов тянуло холодом. Прямо под ногами лежала тьма. Но в этой тьме Пашке чудилось движение. Оттуда изредка долетал торопливый грохот. Потом опять все стихало.

Пашка залез в яму от вывернутой ветром сосны. Там было теплее и как-то надежнее, будто в блиндаже. "Досижу тут до утра, а там посмотрю", решил Пашка, сел, уткнулся носом в колени, натянул на уши шапку и затих. На руку ему упала снежинка, потом вторая, - уже шел реденький, мелкий снег. Пашка съежился сильнее, совсем втянул голову в воротник.

Он дремал, просыпался, снова задремывал, а удары орудий вскоре слились в сплошной гул. За стеной дальнего леса сотнями красных звезд поднялись и, повисев в воздухе, погасли ракеты. После этого вся даль начала вспыхивать непрерывным беглым огнем.

Разрывы приблизились. Снаряды ложились уже на большаке. Над лесом занялось зарево. Оно разгоралось, шло в стороны, потом поднялось в небо и осветило наконец угрюмую осеннюю равнину, лес и даже Пашкины руки.

"Чего это горит? - подумал Пашка. - Горит во всю ширь. Нет у нас таких больших сел".

Он вглядывался в пожар, соображая, что же это горит, и радуясь. Гроыхание боя приближалось, становилось явственней. Может быть, наши прорвали гитлеровский фронт и к утру уже будут здесь?

Странно было лишь то, что бой шел как бы сам по себе.

Никакого признака людей не было вокруг. Один лес да освещенные огнем корявые корни поваленной ветром сосны.

Зарево разгоралось, огонь уже поднимался высоко в черное небо. Пашка догадался, что горит лес. Должно быть, фашисты подожгли его, чтобы задержать наше наступление.

Земля тряслась, песок сыпался Пашке за шиворот.

Ближе к рассвету все небо заревело от мчавшихся с востока невидимых самолетов. Один снаряд ударил прямо под обрывом. Пашка лег на дно ямы, свернулся и долго ждал, но больше близких разрывов не было; очевидно, это прилетел случайный шальной снаряд.

Так Пашка пролежал до утра. На рассвете он увидел, как шли по дальней дороге прямо к их селу наши танки, а за ними бегом продвигалась пехота.

Фашисты огрызались. Изредка то тут, то там разрывался вражеский снаряд, выбрасывая веера желтого дыма. Но разрывы становились все реже, а к утру совсем затихли. Тогда Пашка вылез из ямы и начал осторожно пробираться в село.

Первое, что он увидел у околицы, была большая толпа пленных гитлеровцев - озябших, как будто высохших и угрюмых. Они понуро стояли на выгоне и ждали, пока наши автоматчики их пересчитывали.

На третий день после того, как выбили из Бартенева фашистов, Пашка, возвращаясь от околицы, где он вертелся около тягачей с тяжелыми орудиями, увидел около Аграфениной избы привязанного к заборчику гнедого коня под седлом. Конь нюхал мерзлую землю, позванивая стремянами. В дверях избы пожилой офицер с темным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом, по прозвищу "Покуль". Дед любил повторять это слово, и потому его так и прозвали.

Дед завидел Пашку и сказал офицеру:

- Вот этот мальчонка, Пашка, жил у нее в избе, у Аграфены, покуль тут хозяйевали фашисты. Его спросите.

Офицер посмотрел на Пашку прищуренными спокойными глазами.

- Здорово, Пашка!

- Здравствуйте, - неуверенно ответил Пашка.

- Где Аграфена Тихоновна?

- А вам зачем?

- Хочу ее повидать.

- Нету ее, - ответил Пашка и засопел. - Убили ее фашисты...

Офицер нахмурился и взял Пашку за плечо, а дед Покуль вдруг весь затрясся, снял шапку, и редкие его седые волосы зашевелились от ветра.

Офицер ввел Пашку в избу, сел на лавку, поставил Пашку перед собой и крепко встряхнул:

- Рассказывай, как было. Не бойся.

- А вы кто? - спросил Пашка и потянул носом. - Сродственник ей, что ли?

- Нет. Я дочку ее, Марию Трофимовну, хорошо знаю. Сам я ленинградский.

- Машу знаете? - спросил Покуль. Он тоже вошел в избу, сел поодаль, стащил шапку и пристально ее рассматривал, вертя в руке. - Быстроногая была девчонка. Сноровистая. Вся в мать. Да, покуль мы здесь землю ковыряли, покуль то да се, она высоко поднялась. Ученая, говорят, стала. Лесовод!

Пашка сбивчиво рассказал офицеру все, что случилось с бабкой Аграфеной: как забрали солдаты самовар; как пошли они в лесной домик, и там бабку Аграфену застрелил фашистский офицер. А дом как занялся от упавшей лампы, так и сгорел, как свечка. Фашисты ничего и вытащить не успели.

Дед перекрестился, а офицер снял шапку и сидел молча.

- Да, - сказал он наконец, - простая русская женщина Аграфена Тихоновна...

И опять замолчал. Видно, было ему трудно говорить. Пашка понял это и с уважением смотрел на офицера.

Действительно, Леонтьеву трудно было говорить. Редко в жизни он плакал, но еще реже бывало так, как сейчас: будто комок застрял в горле и не дает вздохнуть.

"Есть женщины в русских селеньях..." - вспомнил он почему-то давно уже не читанные стихи.

- "Есть женщины в русских селеньях..." - повторил он, и эти слова преследовали Леонтьева весь день.

С самого начала войны, когда Леонтьев ушел в армию, и до этого дня он вспоминал лесничество. И решил про себя, что если выйдет живым из войны, то прежде всего съездит туда.

С болью в сердце Леонтьев следил за гибелью лесов.

Он знал, что гитлеровцы начисто вырубали великолепные дубравы на Украине. Он видел леса, похожие на исполинские кладбища, где к небу поднимались обугленные стволы, лишённые ветвей.

В Смоленской области он видел опытный лес из лиственницы. Фашисты

свели его весь, до последнего дерева. Это был, как выражались лесоводы, классический лес: необыкновенной мощи, чистоты и прелести.

Тогда, любуясь этим лесом, Леонтьев подумал, что термин "классический лес" точен и соответствует понятию классичности в литературе, живописи и музыке. Простота, совершенство формы, здоровая жизненная сила - все это было особенно ясно выражено в этом лесе.

Леонтьев вспоминал не только лесничество, но и людей, с которыми там подружился. Вспомнил Баулина, Евтея, Марию Трофимовну и рассказ о ее матери - красивой старухе, которой Чайковский подарил когда-то сережки.

Это воспоминание преследовало его как удивительная по чистоте, почти детская тема. Ему все казалось, что это тема для музыки, а не для прозы. Но все же он решил обязательно написать об этом после войны, попробовать силы в небольшом лирическом рассказе, тогда как до сих пор считал себя только писателем-краеведом и втайне огорчался, считая это свойство ограниченностью.

Когда их часть перебросили на тот участок фронта, где была родина Марии Трофимовны, Леонтьеву захотелось обязательно повидать Аграфену, послушать ее рассказы о Чайковском и побывать в том стареньком доме, где жил когда-то композитор.

В записной книжке у Леонтьева был адрес Аграфены Тихоновны: село Бартенево.

Сейчас, когда он въехал в село, оно оказалось совсем не таким, каким он часто представлял его себе, а гораздо лучше. Оно все раскинулось по горе. По обочинам села прозрачной стеной стояли облетелые ветлы. Внизу, за рекой, тянулись луга, а по взгорью подымался лес.

Лес еще горел в глубине, и по серому небу тянулись ровные струи дыма.

Пашка проводил Леонтьева к пепелищу. Около дома валялись ящики, обрывки газет, грязные бинты, жестянки от консервов, патроны, рваные автомобильные шины. Вокруг было тихо, спокойно, и в глубине леса на ветках рябины с оранжевыми ягодами шелкали снегири.

Леонтьев постоял на пожарище, сняв шапку. Потом побродил немного по лесу и вернулся с Пашкой в село. Он рассказал Пашке о сережках Аграфены и добавил, что надо бы их найти и переслать Марии Трофимовне.

- Они в сундучке у нее, - охотно сообщил Пашка. - Я видел. А ключик за божницей.

В избе у Аграфены Леонтьев нашел за иконой ключ, открыл сундучок. В сундучке лежала черная шелковая шаль, под ней - чистые сорочки, потом ленты, фотография Аграфены с Машей - вихрастой девочкой с напряженными круглыми глазами, потом игральные карты, паспорт, а под ними в коробочке серьги.

Леонтьев достал их и подошел к окну. В каждой серьге поблескивал маленький кристалл.

Леонтьев засунул коробочку с серьгами в боковой карман куртки, запер сундучок, а ключ положил на прежнее место. Потом он сел за иззубренный стол, достал из полевой сумки блокнот и написал три письма.

Первое письмо он написал председателю местного райисполкома. Он сообщал о смерти Аграфены и настоятельно просил разыскать ее останки и похоронить. А после войны он приедет в эти места и сам займется памятником и могилой.

Второе письмо было для Марии Трофимовны. Он не знал, где она, но решил отправить письмо в лесничество. В нем он тоже сообщал о смерти Аграфены Тихоновны и оставлял ее дочери свой фронтowej адрес. Он хотел прибавить, что ждет ее писем, но почему-то не решился.

Третье письмо он написал Анфисе.

Когда Леонтьев ушел в армию, судьба Коли еще не выяснилась. Леонтьев так и уехал, оставив Анфису, Нину Порфирьевну и Колю в Ленинграде. Квартиру свою он поручил Нине Порфирьевне.

Сейчас он был уверен, что женщины застряли в Ленинграде, не успели выехать, и каждый раз, когда вспоминал об этом, только махал рукой и старался поскорее отвлечься от беспокойных мыслей.

В письме к Анфисе Леонтьев вновь подробно описал смерть Аграфены, почти ничего не сказал о своей боевой жизни и закончил словами:

"Берегите себя. Я привязался к вам всем, как старый дворовый пес. Если останемся живы, то, так и быть, я буду вашим посаженным отцом. Вам с Ниной Порфирьевной очень трудно и голодно, а чем помочь - не знаю. Где Коля? Вот дерусь, забросил свои писания, и все мне думается, как достойно сражаться за свою страну и ее людей, за молодежь - чтобы ничто не омрачало ее дни, чтобы она не потеряла доверия к жизни и способности радоваться каждой малости, если та наполняет смыслом и украшает существование. Целую вас, Нину Порфирьевну и Колю".

## ЖЕЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

Между прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча. И как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого.

"Вернутся ли они? - думала Анфиса. - Конечно, вернутся. Но останется ли все таким, как было?"

От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось.

И выживет ли Нина Порфирьевна? Она совсем высохла, лицо ее сделалось с кулачок, но глаза по-прежнему строго поблескивали из-за стекол пенсне.

А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно жить. Не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет великолепно. И нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую, небритую щеку.

Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфирьевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, обслуживавшую Ленинградский фронт.

Во время одной из гастрольных поездок она простудилась так сильно, что ей пришлось вернуться в Ленинград.

Нина Порфирьевна, не ожидавшая увидеть Анфису так скоро, вдруг непривычно засуетилась. У Анфисы упало сердце. Она подумала, что, наверно, что-нибудь случилось с Колей, но оказалось, что Коля жив, прислал уже несколько писем, а волнуется Нина Порфирьевна оттого, что ей нечем накормить иззябшую и едва держащуюся на ногах Анфису.

- Смотреть на тебя не могу, - говорила Нина Порфирьевна, - какая ты стала худенькая. А у меня только и есть что хлеб и чай. Правда, и сахару немного.

Нина Порфирьевна поставила на чугунную плитку чайник. Он тотчас, совсем по-диккенсовски, засипел, запел, потом начал булькать, бурлить, выплескивать кипяток, будто радовался, что так быстро и хорошо сделал свое маленькое, но доброе дело. Анфиса, лежа на тахте, укутанная в три одеяла,



смотрела на чайник. Он представлялся ей живым, добрым и дружеским существом.

...Пришла блокадная зима. Взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели. Жизнь на первый взгляд только теплилась в людях. Но человек жил, и сопротивлялся, и побеждал наперекор всему.

Леонтьевская старушка-работница как-то уснула с утра и больше не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице.

Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич.

Анфису после выздоровления приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене. Зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек.

Во время воздушной тревоги все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу, без декораций.

Анфиса часто оставалась ночевать в театре, в маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей.

Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя вороха театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Метнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Метнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Метнер даже пел. Это пение почему-то успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно неподходящие к обстоятельствам.

Музыка помогала думать. Анфиса думала, что она еще очень молода, а какая большая жизнь уже позади: родной городок, любовь к Коле, Москва, театральная студия, Леонтьев с его дымящейся трубкой и неожиданными поступками, осада, выступления перед бойцами, пожары, розовый от зарева снег, опухшие пальцы...

Она вспоминала прошлое и думала: удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью? Иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание...

Однажды она рассказала об этих своих мыслях Нине Порфирьевне. Та рассердилась, ответила, что все это чепуха, что в такое тяжелое время каждый должен делать свое дело и поменьше ковыряться в собственной душе. Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли!

Анфиса смутилась и дала себе слово никогда больше не предаваться этим бесплодным размышлениям.

Однажды утром, когда Нина Порфирьевна ушла в госпиталь, пришло коротенькое письмо от Коли, всего несколько слов. Он писал, что невредим, что сейчас у них некоторое затишье и что он все время думает об Анфисе и Нине Порфирьевне. В конце письма Коля сделал приписку: просил узнать о судьбе Петра Максимовича Багалея. Где он, куда эвакуировался?

Анфиса прочла письмо, быстро оделась и понесла письмо в госпиталь, к Нине Порфирьевне. Госпиталь находился на Аптекарском острове.

Стояло хмурое утро, падал снег. Изредка в стороне Васильевского острова и порта рвались снаряды. В прорубях на Неве закутанные изможденные люди брали воду. Тонкие стволы зениток смотрели наискось в небо из разных углов Марсова поля.

Вмерзшие в лед свинцовые корабли казались покинутыми: ни одного человека не было видно на палубах.

Заиндевелые рваные провода звенели, когда прохожие их задевали.

Анфиса пошла по набережной Фонтанки. В Летнем саду на голых липах не было ни одной галки. Сад был пустынен, мертв. Сугробы снега лежали около желтого старинного павильона и Петровского дворца.

Если тревога заставляла Анфису на улице, ее всегда тянуло укрыться в каком-нибудь живописном уголке - под колоннадой, под карнизом вот такого садового павильона или в подъезде, где стояли по сторонам входа шестигранные чугунные фонари с выбитыми стеклами.

Ей почему-то казалось, что самая прелесть, самая красота этих мест спасительна и надежна, что бомба не посмеет упасть здесь, как будто красота окружала эти колонны, портики и сады непроницаемой для взрывов средой.

Нина Порфирьевна прочла Колино письмо и спрятала его в карман халата. Ей было некогда, и Анфиса тотчас ушла. В театр Анфисе нужно было только к двум часам, и она решила зайти сейчас в дом, где жил Петр Максимович. Может быть, в доме кто-нибудь остался и удастся узнать, что случилось со старым профессором.

В квартире Петра Максимовича, видимо, кто-то жил. В форточку была выведена жестяная труба. Из нее валил дым.

Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но дверей не открывал.

- Откройте, - сказала Анфиса. - Я к Петру Максимовичу.

- Тяните дверь к себе, - ответил глухой голос.

Анфиса потянула дверь, переступила порог и в полутьме прихожей взгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок человека в меховой шапке и варежках.

- Петр Максимович! - вскрикнула Анфиса. - Да разве вы в Ленинграде?

- Не вижу кто, - сказал Петр Максимович. - Кто вы такая?

- Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните? Я была у вас с Колей.

- Пойдемте, - сказал Петр Максимович. - Только, будьте добры, возьмите меня под руку. Сестра ушла за хлебом, я уронил очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться - безбожно задыхаюсь... Я рад. Очень рад!

Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз в ту комнату, где топилась чугунная печурка и из форточки валил дым.

- Тут у нас тепло, - сказал Петр Максимович. - Топим сколько возможно. Иначе пропадут растения.

Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело. Повсюду стояли цинковые ящики.

- А я не уехал, - сказал Петр Максимович. - Заболел крупозным воспалением легких и так и остался, представьте себе!.. Я вас совсем не вижу.

Анфиса спохватилась, осмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки, подвел Анфису к окну.

- Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте... Сейчас придет Полина Максимовна, и мы напоим вас чаем. Правда, это один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма.

Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе.

- Так, - сказал он. - Значит, вы живете у Леонтьева. Жаль.

- Почему?

- Во-первых, Фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью, люблю ее, знаете, всей душой и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. Переезжайте-ка лучше к нам. Места хватит. Из той комнаты все ящики можно будет убрать.

Анфиса объяснила, что это невозможно, и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках.

- Золото! - засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков. - Пожалуй, нечто даже дороже золота: это семена.

- Какие семена?

- Быстрорастущих деревьев. Здесь, - Петр Максимович показал на ящики, - весь запас этих семян. Сейчас я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда. Иначе семена бы пропали. А у меня они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса, я счастлив.

Стекла в окнах звякнули, и вскоре после этого дошел до комнаты полновесный удар.

- Всё по Васильевскому! - заметил Петр Максимович. - С утра палят и палят.

Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал.

- Представьте себе, - сознался он, - я начал понемножку курить. Во время осады. Все-таки легче. Папиросы кое-как достаю.

Он закурил, весь окутался дымом и спросил:

- Вы терпеливая?

- Очень.

- Так вот, слушайте. Потерпите. А когда надоест, вы мне скажете. А то мне, знаете, не с кем слова молвить.

Он помолчал.

- Война скоро закончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы... И так далее и так далее. Начнется восстановление. Превосходно. Но это меня не устраивает.

- То есть как? - удивленно спросила Анфиса.

- Устраивает, конечно! Но не в полной мере. Потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли. Они тоже подорваны войной. Восстановить то, без чего невозможна жизнь на земле, самое наше существование.

- Леса? - спросила Анфиса.

- Безусловно.

Иначе у нас из года в год начнут падать урожаи, пересыхать реки, засухи и засухи будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Я боюсь показаться парадоксальным, но, возможно, изменится и самый состав воздуха. И мы испытаем то, что называется кислородным голодом. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. Он будет мучительно переживать нехватку кислорода.

- Ну что вы! - сказала Анфиса.

- Да. Очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я уже, извините, устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь, за столом.

В это время вернулась Полина Максимовна. Она узнала Анфису, расцеловалась с ней, сказала:

- А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава богу!

- Вам очень, должно быть, трудно, - заметила Анфиса.

- Нет, не очень. Я еще и в детском интернате работаю. Сколько могу. Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская: по ночам спим мало, больше всё ходим, что-то делаем или лежим, разговариваем в темноте. Прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите... - она кивнула на Петра Максимовича, который уснул в кресле, - слабеет, а все горит, все со своими лесами. А пока дело дойдет до лесов, продержаться надо. Сбереечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом

работать в варежках! Хоть и топим, а холодно... Да они все, старики, такие! - неожиданно заключила Полина Максимовна. - Про семена Петр Максимович вам рассказывал?

- Рассказывал.

- Тут семена есть наши, древесные, - почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна, - а вон те, в той комнате, - это семена пшеницы. Лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг, профессор Пахомов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это, знаете, какая ценность! Сколько выращивали, работали, берегли... А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы нипочем не устоял. Но Николай Евгеньевич святой человек, рыцарь. Зернышка не тронул. А что стоило вскрыть один-другой ящик! Остался бы жив. Но, говорит, рука не подымается. Это, говорит, было бы величайшим преступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное, скрывать надо, чтобы люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосило, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе и не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил!

- Не удержалась? - спросил, не открывая глаз, Петр Максимович. Выболтала? Доживем мы с тобой до беды!

Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату.

- Я никому не скажу, Петр Максимович, - сказала Анфиса. - Поверьте мне.

- Я знаю, - ответил Петр Максимович и открыл глаза. - Ее тоже надо понять, Полину. Я плохой собеседник. Мы с ней обо всем уже переговорили. А душу отвести надо. Вот и дорвалась... Полина, - сказал он погромче, - не волнуйся, милая! Вскипяти нам лучше водицы... Так вот, - Петр Максимович обернулся к Анфисе, будто их разговор не прерывался и он совсем не засыпал, - минует война, надо будет восстанавливать леса, а это дело, вы знаете, длительное. Нужны годы и годы. А ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстрорастущие деревья, - он показал на цинковые ящики, - пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, веймутова сосна. Канадский тополь, как выражаются лесники, самое "гонкое" дерево, растет со сказочной быстротой - по полтора, а то и по два метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой.

Дает стройные и высокие стволы и никогда не гниет. А об эвкалипте, этом алмазе лесов, нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь двадцать лет на шестьдесят метров. Сосне для такого роста нужно двести лет. Тут-то старик

Галилей здорово промахнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше ста метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева.

- Петя, - сказала из соседней комнаты Полина Максимовна, - да не мучь ты ее, ради бога, своими лекциями! Какой там Галилей, когда, наверно, сосет под ложечкой. Идите, чай готов.

- Ничего, она будущая жена лесоведа. Ей это нужно знать.

Анфиса напилась кипятку с кусочком сахара, разругалась и повеселела.

Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то совсем позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверно, потому, что там не умирали человеческая мысль и теплота. А может быть, еще и потому, что устоявшаяся жизнь с ее разумным бытом оказалась гораздо большей силой, чем можно было предполагать. Война могла ее убить, но не разрушить.

Анфиса вспомнила микроскоп Петра Максимовича - блестящий, протертый замшей, без единой пылинки. Этот микроскоп показался ей сейчас мощнее тяжелых орудий.

Она вышла к Бирже. Обстрела не было. Стояла такая тишина, что было слышно шуршанье снега, задевавшего на лету за рваные листы кровельного железа.

Она остановилась у гранитного парапета, посмотрела на город, подумала, что вот так же на него смотрели, задумываясь о его великой судьбе, многие люди на протяжении двух столетий.

Может быть, тут стояли и Пушкин, и Герцен, и Чехов... А может быть, остановился на мгновение и стремительный Ленин, взглянул и подумал, что вот она, удивительная и непобедимая цитадель революции, город провозвестник социалистических времен.

Сейчас в немых его далях все было смутно, приглушено снегом, сумраком, будто город вымер и она одна бредет по нему со своими недодуманными до конца думами, с упрямой верой в то, что придет избавление. Потому что нельзя же, чтобы вот здесь, сейчас, под этим снегом, в осажденном, обледенелом городе, начисто исчезло будущее и оборвалась жизнь. Не может этого быть!

Как бы подтверждая ее мысли, вмерзшие в Неву корабли вдруг опоясались ослепительными вспышками пламени. В снеговую муть с медным звоном помчались снаряды. Балтийский флот начал обстрел немецких позиций.

Тотчас, откликаясь на резкие удары корабельных орудий, загремели по всему кольцу обороны пушечные залпы. Бледные зарницы выстрелов начали разверзаться в пасмурности городских горизонтов. И вскоре весь город и все пригороды уже гремели непрерывным орудийным огнем.

В бесконечной дали со стороны Ладоги слух уловил частую и упорную канонаду - должно быть, по ту сторону вражеского кольца. Раньше ее Анфиса никогда не слыхала.

"Неужели наши прорвали блокаду?" - подумала Анфиса и побежала, спотыкаясь, по Дворцовому мосту, поправляя на бегу сбившийся с головы платок и чувствуя, как жарко и радостно горят ее глаза.

Снег летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый цвет.

## ОЖИДАНИЕ

В госпитале за Колей присматривала молчаливая молодая сестра. Руки у нее были всегда холодные. Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар.

Сестру звали Марией Трофимовной.

Когда было очень трудно, Коля просил Марию Трофимовну положить ему руку на лоб. Она делала это, и свежесть сразу проникала глубоко в мозг, где билась, стараясь разорвать сосуды, перегретая кровь.

Боль быстро утихала. Коля засыпал, и снова один и тот же сон наплывал издали, пока не заполнял все вокруг.

Один и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знакома каждая щелка в деревянном крашеном полу.

Коля не мог бы рассказать этот сон. В нем все было в тумане, будто весной в прелом обогреваемом саду, где из-под лиловых, слежавшихся за зиму прошлогодних листьев ползут стрелки молодой травы.

За роялем в маленьком доме сидел Кузя и тихонько ударял по одной и той же клавише. Постепенно звук начинал нарастать, превращался в резкий свист, в глаза ударяло пламя. Коля стонал и просыпался.



Да... в глаза ударяло пламя. Так вот оно ударило в глаза где-то под Стародубом, когда Коля шел в сумерки по дороге, заросшей по краям густым ольшаником. Он упал и очнулся в кузове грузовой машины.

На борту машины сидел боец с автоматом. Звезды над головой мелко дрожали от тряски машины. В груди была такая боль, что Коля сжал зубы, но не мог из-за толчков машины держать их сжатыми и невольно начал стонать.

В госпитале, когда Коля приходил в себя, он видел, что сестра сидела обычно около окна и читала одну и ту же книгу - томик стихов Лермонтова. Она закладывала книгу какой-то запиской и подходила к Коле.

- Ну как? - спрашивала она. - Легче?

Коля кивал в ответ.

За окном орали галки, таяли сосульки. По унавоженному спуску лошади волочили розвальни с сеном. Начиналась весна.

Однажды сестру куда-то срочно позвали, и она второпях оставила томик Лермонтова на столике около Колиной постели. Коля осторожно вытянул руку, взял книгу.

На одеяло из книги выпало письмо. Пряча его обратно в книгу, Коля нечаянно прочел подпись: "Ваш С. Леонтьев".

"Уж не Сергей ли Иванович Леонтьев?" - подумал Коля. Да нет, мало ли Леонтьевых на свете. Но все-таки, когда сестра возвратилась, он сказал ей:

- Вы извините, я уронил письмо.

- Ничего, - ответила сестра и переложила письмо из книги в карман халата.

- Сергей Иванович Леонтьев, - сказал Коля. - Хороший человек, писатель. Это он?

- Вы его знаете? - Сестра быстро села на кровать, в ногах у Коли. Откуда?

- Хорошо знаю. По Ленинграду. Я же студент Лесного института.

- Удивительно! - сказала сестра. - Я тоже лесовод.

- Почему же вы работаете сестрой?

- Это всего на один месяц. У нас в лесничестве сейчас работу свернули, почти нечего делать. Главный врач - знакомый. Взял меня, я его упростила. Скоро опять поеду в лесничество. Это отсюда недалеко, всего тридцать километров. А вы слышали, что Леонтьев работал у нас объездчиком? Два месяца.

- Слышал. Он лесной человек... Это при вас приезжали в лесничество две девушки?

- Нет. Я была в отпуску. Но мне рассказывали. Вы их тоже знаете?

- Одну знаю. Мы из одного города.

- А вот этого Лермонтова, - сказала без всякой связи сестра, - Сергей Иванович мне подарил перед отъездом.

- Извините, - сказал Коля, - но откуда вы получили письмо? Где он сейчас?

Сестра посмотрела за окно, где галки все сразу снялись со старых деревьев и со страшным гомоном полетели на другой берег реки.

- В армии. Был в Калининской области. Я сама из тех мест. Вот пишет там у меня мать погибла.

- Да... - сказал Коля. - Тяжело.

- Знаете что, - сказала сестра, - не надо вам разговаривать. Рано еще. Вы лежите тихо, а я с вами посижу. Как удивительно, что вы его знаете!

- Только вы не уходите, - попросил Коля.

- Нет, не уйду, - ответила сестра, отвернувшись к окну, задумалась и положила свою руку на Колин локоть, как бы предупреждая его, чтобы он не двигался.

Коля смотрел на Марию Трофимовну. Лицо ее точно светилось изнутри. Вдруг она улыбнулась, должно быть чему-то такому хорошему, что Коля, сам не зная почему, закрыл глаза.

Как только он их закрыл, в голове поплыли беспорядочные мысли.

"Что это? - подумал Коля. - Кажется, я засыпаю. Неужели выздоровел? И даже рана уже не болит, а только чуть ноет... Как кричат галки! Ведь это весна.

Говорят, что лед на реке весь потемнел и потрескался. И уже стоят на столике около кровати ветки вербы с пушистыми барашками. А старая нянюшка сказала утром, что сегодня благовещенье и мальчишки в этот день выпускают на волю птиц, что сидели всю зиму в тесных клетках. Благовещенье. Благая весть..." Он ждал ее. От Анфисы.

Коля открыл глаза. Сестра наклонилась над ним, встревоженно смотрела ему в лицо.

- Что с вами? - спросила она. - Вам нехорошо?

- А что?

- Вы кричите во сне.

- Не знаю. Приснилось что-нибудь.

- Ну, спите, - сказала Мария Трофимовна. - Набирайтесь сил.

Она вышла из палаты. А Коля тут же крепко уснул.

Городок был в шестидесяти километрах от железной дороги. Летом, когда ходили пароходы, никто от этой его отдаленности особенно не страдал, но зимой было трудно, особенно сейчас, в военную зиму, когда раненых приходилось доставлять в городок со станции железной дороги на автобусах.

На следующий день после того, как Коле стало лучше, Мария Трофимовна уехала на станцию за ранеными. День был ветреный, пронизывающий. Раненых закутали в тулупы и одеяла.

Все шло хорошо, но на обратном пути в лесу машину встряхнуло на корнях, в одном из окон треснуло стекло, и небольшой его кусок вывалился наружу. Сразу же всю машину начало обдувать ледяным сквозняком. Под руками не оказалось ничего, чтобы закрыть разбитое стекло. Тогда Мария Трофимовна села к окну и прижалась к нему спиной. Так она просидела до самого городка, радуясь, что в машине снова тепло и раненые перестали беспокоиться.

В госпитале она сдала раненых, зашла к Коле, немного с ним поговорила, потом переделась у себя в комнате и вышла на улицу.

Ложились сумерки, но огней нигде не было. Городок был еще в полосе затемнения. В узком разрыве между тучами истлевал желтый закат. Ручьи шумели по обочинам деревянных тротуаров.

Мария Трофимовна поднялась на крутой берег, откуда она в последний раз смотрела вслед пароходу, когда уезжал Леонтьев. Все это было, но повторится ли опять? Увидит ли она его?

Она ходила по городу до позднего вечера. Она очень озябла. Ох, уж эта весенняя сырость! Недаром говорят, что, пока не прошла река, нельзя снимать шубы. А она сняла свою старую, надоевшую шубку и надела серое легкое пальто. В нем она сама себе нравилась.

Для кого надела - неизвестно. Кто ее мог увидеть? На что она надеялась? На чудо? На то, что вдруг в пустынной и тихой улице увидит его, идущего навстречу? А как было бы хорошо!

Она знала, что сегодня она какая-то особенная, полная нежности и любви, и что все это отражается в каждом ее взгляде, в каждом движении, слове. И все это для одного человека.

Мария Трофимовна вернулась к себе, легла, но никак не могла согреться. А тут еще разболелась голова. Она уснула ненадолго, а когда проснулась, часы пробили всего одиннадцать. Мария Трофимовна сжалась в комок, но резкий озноб вдруг прошел по всему телу. К утру она уже была без сознания.

Тяжелее всего были не боль и не слабость, а утомительное состояние полусна-полубоддрствования, когда никак нельзя было разобрать, что происходит наяву, а что - во сне. Когда-то она уже испытывала это состояние, прошлым летом, в Бартеневе, но тогда оно давало радость, а теперь тяготило. Мария Трофимовна очень уставала от быстрой смены дня и ночи, света и темноты. Откроешь глаза - желтоватым огнем горит электрическая лампочка, а около постели сидит на стуле бледный юноша в халате, и почему он сюда попал - неизвестно. Должно быть, это Коля. Молчит, опустив голову, и, кажется, дремлет.

Закроешь глаза на минуту, снова откроешь - видно, как за окнами ветер качает ветку с набухшими почками, пролетают, куда-то торопясь, облака, и нянюшки гремят посудой.

А через минуту снова ночь, и мать, Аграфена, стоит у кровати, берет ее за руку, накидывает на плечи старый тулупчик. От него холодно голым горячим плечам.

Аграфена ведет ее за руку в лес. Гул сосен оказывается вовсе не гулом, а музыкой, и в ее мелодию входит знакомая песня: "Во поле березонька стояла..." Аграфена закрывает концом платка рот. "Мама, говорит Мария Трофимовна, - ну, мама же! Как это можно всю жизнь убиваться по человеку за то, что он подарил тебе эти сережки!" - "Дурочка ты, шепчет Аграфена, - разве я сердце свое могу замкнуть на замок?"

А музыка становится все слышнее, и каждый звук вызывает перед глазами новые удивительные вещи: то поляну с вереском, то иволгу на ветке, то красноватый ствол сосны. "Великий лес!" - говорит Аграфена.

А где-то за этим великим лесом шумят города, кричат сотни автомобильных рожков, блестят миллионы окон, и в толпах людей, смешавшись с ними, Мария Трофимовна видит Леонтьева. Но он чужой. Он не слышит, как она зовет его. Он даже не оглядывается.

"Михаил Юрьевич, - тихо просит Мария Трофимовна, - помогите мне, милый! Подайте руку".

Кто-то подает ей маленькую загорелую, крепкую руку, но поздно: вокруг уже тьма и жар, и только с тоненьким скрипом, как вода в незаметную щель, медленно сочится, уходит сознание.

Мария Трофимовна умерла ночью. Утром, когда Коля вошел в ее палату, там уже стоял на столике стакан с каким-то розовым цветком и было чисто и тихо. Лицо Марии Трофимовны покрывала спокойная бледность. Живыми казались только ее темные ресницы.

Похоронили Марию Трофимовну в лесничестве, среди молодых сосен. Коля, уже оправившийся после болезни, ездил на эти похороны, и его поразил старый лесник Евтей. Он только кричал, закрыв лицо серой облезлой шапкой. Когда могилу засыпали, он сказал:

- Беспорядку много в этом деле... в смерти. Легкой души была женщина, а умерла молодой. А вот я скриплю, старый пень. Нет на меня управы! Я бы с ней обменялся в охотку, да меня, видишь, никто об этом и не спрашивает.

Коля познакомился с лесничим Баулиным, молчаливым, усталым человеком. Баулин был так подавлен смертью Марии Трофимовны, что ни с кем, в том числе и с Колей, не разговаривал.

## В ТУМАНЕ СПРЯТАННОГО СОЛНЦА

Вскоре после смерти Марии Трофимовны Коля уехал в Ленинград. Пришла первая после блокады весна.

Под Любанью Коля проснулся, заглянул в окно вагона и выругался. До самого края земли тянулся горелый лес. Он был похож на частокол из огромных жердей. От косого утреннего солнца, освещавшего лоснящиеся обугленные стволы, изрытую землю, воронки с тухлой водой и ржавую проволоку, запутавшую все вокруг, этот лес казался совершенно

неправдоподобным видением, горячечным бредом. Ветер раздувал пепел, застилал черную редицу леса сизым угаром.

Сосед по вагону, бородатый солдат, долго глядел на лес, наморщив лоб, потом сказал:

- Иссобачили, измордовали фашисты нашу землю. На сотни лет.

- Ничего! - ответил Коля. - Вырастим леса и раньше.

- Это точно, - согласился солдат. - При теперешнем развитии нашей мысли.

В Любани было солнечно, а над Ленинградом лежал туман. Это был тот легкий голубоватый туман, за которым неясным пятном проступает утреннее солнце. То тут, то там его багряные отблески пробивались через туман, ложились на воду, на стены домов. Было ясно, что этот туман очень непрочный, что его снесет первым же движением воздуха с залива и за ним откроется чистое небо и город в блеске росистых поутру садов.

Коля с бьющимся сердцем вышел из вагона на дощатую платформу Московского вокзала. Он ничего не написал о своем приезде ни Анфисе, ни Нине Порфирьевне. Они знали лишь, что он лежит на излечении в госпитале, что все идет хорошо и что как только он поправится, сейчас же приедет в отпуск.

Город оживал на глазах. Жизнь брала свое.

С утра до вечера по всем улицам был слышен стук топоров, голоса девушек, возившихся на лесах. С Невы опять долетали гудки катеров и пароходов. На окраинах уже мощно дымили и звенели станками заводы.

Даже пунцовые свечи кипрея, разросшегося в изобилии на стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот город.

Коля шел на Фонтанку. Он был в старой шинели с мятыми, выгоревшими погонами, с почти пустым вещевым мешком, висевшим через плечо.

В тумане жужжали пилы на стройках. Воздух был наполнен запахом моря; с залива чуть тянуло утренним ветерком.

Коля вошел в знакомый двор на Фонтанке. Там было пусто. Пробивалась трава. Кучей лежали маленькие пустые патроны от зенитных снарядов.

В углу двора, около кирпичной стены, какая-то женщина колола дрова.

Коля прошел мимо нее к парадной двери, забитой фанерой, и оглянулся.

Женщина выпрямилась, откинула со лба прядь светлых волос, взглянула на Колю, вскрикнула, опустилась на кучу наколотых дров и закрыла лицо руками.

- Ты, Анфиса? - крикнул Коля и побежал к ней.

Она никак не могла встать. Она только схватила его руки и что-то шептала. Потом подняла на Колю счастливые глаза, и Коля увидел знакомые взлетающие брови и маленькую родинку на виске.

- Я сейчас встану. Милый ты мой, родной мой человек! Что же ты ничего не писал?

И она, как маленькая девочка, крепко обняла Колины колени и прижалась к его шершавой шинели пылающим худеньким лицом.

#### КОРОТКОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Петр Максимович вышел из Кремля, спустился к Москве-реке и пошел по набережной. Ему захотелось пройтись. Он кивнул шоферу, и машина осторожно двинулась следом за ним.

Шофер поглядывал на старого профессора и усмехался, - тот, по мнению шофера, был чужак. Сев в машину, по дороге в Кремль он сразу же начал возмущаться духотой, опустил окна и устроил сквозняк. На него не произвели никакого впечатления ни две махровые гвоздики в стеклянной колбочке, прикрепленной около дверцы, ни электрическая зажигалка, хотя профессор заметно нервничал и выкурил по пути в Кремль две папиросы.

Шофер был обижен. Машиной восхищались все, а этот старик только фыркал, будто его везут на трясучей таратайке. Поэтому, подумав, шофер сказал:

- Это машина легкая, послушная, не то что какой-нибудь муровый "бьюик".

- А что такое этот ваш "бьюик"? - сердито спросил Петр Максимович.

Шофер усмехнулся:

- Такая марка.

- Все эти марки одинаковы, - проворчал профессор. - Отравляют воздух.

И портят людям нервы.

Шофер живо обернулся. Машина стояла перед закрытым светофором.

- Против этого я не возражаю, - сказал шофер. - Я сам любитель свежего воздуха. У меня на родине, в Калужской области, места привольные. Только так рассуждать, как вы, не совсем, по-моему, правильно.

- Это почему же?

- А потому, что если вы пожелаете, то я вас через два часа в эти места доставлю на своей машине. Съедем с шоссе, поставим машину под березу, вы дверцу откроете и - пожалуйста! - собирайте землянику под самыми колесами. Удобство! А поездом будете семь часов ехать. Да еще с пересадкой.

Профессор издал звук, похожий на легкий смешок, но промолчал. Шофер, не дождавшись ответа, с места рванул машину под открытый светофор. Презрительно прищурившись, он домчал ее до Кремля. Там он ловко остановил машину почти с полного хода, зашуршав новыми шинами.

Пока профессор находился в Кремле, шофер успокоился и даже вздремнул. А сейчас он, сидя в машине, смотрел, так же как и профессор, на сероватую мглу, что опускалась к вечеру на город, на вереницы белых огней, на речные трамваи, подгонявшие к гранитным берегам гладкие волны, на далекую зелень Ленинских гор и разноцветные фонари троллейбусов, пронесившихся по длинному мосту. Окна в машине были опущены, и постепенно в нее начал проникать запах зацветающих лип.

- Хорошо! - вздохнул шофер.

Ему захотелось, чтобы профессор постоял на набережной подольше. Но профессор взглянул на часы, торопливо сел в машину и приказал ехать в театральную студию.

В студию так в студию! Шоферу это было безразлично. Но все-таки странно: какое отношение мог иметь этот ученый старик к театру.

Когда машина въехала во двор студии, навстречу ей бросилась девушка в разлетающемся от ветра платье. Волосы ее отливали медью. Она открыла дверцу, помогла профессору выйти, и они расцеловались.

Шофер поглядел им вслед, сдвинул на глаза кепку, почесал затылок, тихонько пропел: "Когда б имел золотые горы и реки, полные вина, все отдал бы за эти взоры, за эти милые глаза..." Только после этого он неохотно выехал со двора.



- Ну, как в Кремле? - взволнованно спросила Анфиса.

- Превосходно! В общем, вашему Коле хватит работы на всю жизнь.

Анфиса засмеялась.

- Вы рады?

- Какое там рад! - ответил Петр Максимович. - Я не рад - я счастлив.

В вестибюле студии Петра Максимовича ждал режиссер - высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимовича к себе в кабинет, усадил за круглый стол, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай.

- Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю, - сказал режиссер. От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить.

- Какое же беспокойство! - возразил Петр Максимович. - Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу.

- Да? - спросил режиссер и сделал восхищенные глаза. - Это замечательно! Я побаивался, что вас удивит наша просьба. Слыханное ли дело: известный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране... Петр Максимович заерзал на кресле. - Простите, но я говорю совершенно откровенно... ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью о лесных делах. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чеховским "Дядей Ваней"?

Петр Максимович кивнул.

- Образ доктора Астрова, с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека, требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле, со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актеров.

В это время Тата Базилевич внесла на подносе два стакана чаю. Петр Максимович взглянул на нее и удивился: что за глаза у этой девушки! Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата, поставив поднос, слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета.

- У меня прекрасная молодежь, - сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью.

- Вижу, вижу, - пробормотал Петр Максимович. - Радуюсь.

Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю.

Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. Да, жизнь, в общем, хороша! Это бесспорно.

Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы дружно встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить.

- Прежде всего, - сказал он, - я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова.

Во втором ряду встал смущенный молодой человек.

- Вы бывали в наших лесах? - спросил его Петр Максимович.

- Да, - ответил юноша; звали его Женей Горбачевым. - Но, конечно, мало.

- Так вот, - сказал Петр Максимович, - я могу вам помочь, чтобы вы провели хотя два месяца в настоящем заповедном лесу.

Юноша вспыхнул, заулыбался.

- А как же мы? - испуганным шепотом, но так, что было слышно во всем зале, спросила Тата.

- Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах. Но об этом мы поговорим потом.

Пока же я только могу сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни. Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе, как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего...

Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленные некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. Помните пушкинское: "лесов таинственная сень"? Я не могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как "Подруга дней моих суровых..." или "Роняет лес багряный свой убор...".

Извините, что цитирую только Пушкина: стихи позднейших поэтов с такой ясностью не удержались у меня в памяти.

Леса являются величайшим источником вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра.

Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха.

Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом кубическом метре их всего двести - триста, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безотчетной радости и силы, охватывающее нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов.

Но главное не в этом. Лес - это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам - лазутчикам пустыни. Он является конденсатором влаги: росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки. И, наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях.

Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. Довольно тонкий, как вы, конечно, знаете, слой плодородной земли зачастую смывается начисто, и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развеивается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материи плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные, или черные, бури.

Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы.

В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и

сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека - теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которыми мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем.

Напомню вам пророческие слова о роли лесов, сказанные Энгельсом:

"Людам, которые в Месопотамии, Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги".

...Сегодня я был в Кремле, - сказал, помолчав, Петр Максимович. - Там обсуждались работы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в двадцать миллионов гектаров. В одной только Белоруссии гитлеровцы сожгли, вырубил и обратили в пустыри пятьсот тысяч гектаров леса. В первую очередь фашисты уничтожили превосходные леса, созданные трудами человека, посадки лиственницы на Смоленщине и дубравы Украины. В Орловской области они вырубил все рощи, воспетые нашим Тургеневым.

Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее пяти тысяч способов ее применения.

Поэтому мы и работаем сейчас над разведением быстрорастущих лесов и над тем, чтобы ускорить рост и улучшить качество наших привычных деревьев: сосны, осины, тополя. Я уверен, что знаменитая проблема "преодоления времени", иначе говоря - ускорения роста деревьев, в самом недалеком будущем будет решена нашими учеными.

Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих - таких, как покойный Высоцкий, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарям и ветровалу, обследуя северные лесные массивы.

Это всё подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и потому могут быть названы истинными творцами.

Таков был доктор Астров. Таков был и сам Чехов. Когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает!

Мы идем через времена стройки и напряженного труда к совершенной жизни. Думая об этом, я представляю себе человека, который, совершив путь через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренный, сожженный солнцем, входит наконец в глубину торжественных и тихих лесов, и все его тело охватывает прохлада листвы. От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвои и коры исчезает усталость.

Великая сила жизни видна во всем: в колебании вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении. А к вечеру где-нибудь около лесных вод человек садится у костра, и рядом с ним садится тишина. Звезды, во сто крат более яркие, чем над пыльным пологом городов, загораются в небе.

При взгляде на них человек начинает понимать все величие мироздания, начинает понимать, что значит заслуженный отдых и душевный покой. Ночь поднимается над миром, полная свежих запахов, смутного света, росы, крика ночных птиц. А впереди сотни таких ночей, и рассветов, и дней, и вечеров, когда над Россией расстилается не то туман, не то дымок костров. Может быть, об этом и думал Чехов. Не знаю.

Позвольте мне закончить свое короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он - мертвец и сухое полено...

Аплодисменты не затихали очень долго, и долго еще покрасневшиеся юноши и девушки не отпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах. Если бы не Анфиса, то ему не скоро удалось бы уйти. Она взяла его под руку и увела в кабинет.

Режиссер долго благодарил Петра Максимовича, жал ему руку, а Анфиса шепнула:

- Как я за Колю рада, Петр Максимович, если бы вы только знали! Какое удивительное дело он выбрал!

Когда Петр Максимович вышел во двор, шофер на тяжелой лакированной машине уже вернулся и ждал его.

Петр Максимович усадил в машину Анфису, Тату и Женю Горбачова, сел сам и приказал шоферу везти всех на речной вокзал, в Химки.

Шофер тотчас сдвинул кепку на затылок, повеселел и, рисуясь своей сноровкой и небрежностью, помчал машину по узким улицам, пока не вырвался на Ленинградское шоссе. Там он "показал марку". Машина понеслась, как торпеда, лишь изредка приседая на рессорах.

На речном вокзале было просторно, пусто. Прошел небольшой дождь. Блестел мокрый асфальт. Из сада пахло туей, от воды - нефтью, а на открытой веранде ресторана горели матовые фонари.

Туча, пролившаяся коротким дождем, уходила на юг, а на западе уже открылось сияние летней зари. Цепь речных огней горела на этой заре. Издалека долетали звуки оркестра: должно быть, в Москву возвращался прогулочный пароход.

- Что играют? - спросила Тата.

Все прислушались. Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи перепутывали его звучание, и можно было только догадаться, что оркестр играет вальс. Он кружился над подмосковными рощами, постепенно приближался, словно выплывая из этой широкой зари.

Петр Максимович заказал ужин, вино, чай с пирожными.

Когда Женя Горбачов разлил в бокалы вино, кто-то осторожно тронул Анфису сзади за плечо. Она быстро откинула голову.

Позади Анфисы стоял Леонтьев, похудевший, спокойный, и, прищурившись, хитро смотрел на Анфису.

Она вскочила, обняла одной рукой Леонтьева за шею, коса ее упала, но она, не замечая этого, крепко прижалась щекой к колючей, как обычно, щеке Леонтьева и прошептала:

- Родной мой, как вы меня напугали! Откуда вы?

Петр Максимович торопливо протирал очки, чтобы рассмотреть этого странного человека. Протерев их, надел, узнал Леонтьева и сказал:

- Вас нам как раз и не хватало.

Леонтьев поздоровался со всеми, сел к столику, потребовал еще вина и сказал:

- Прямо из Берлина. Только что демобилизовался. Всю войну мечтал о встрече со всеми вами. И вот - можно поверить, что наша старушка Земля не без чудес, - все случилось так, как я думал.

Почему-то все замолчали. Слышнее стал оркестр, и как будто ярче загорелась заря.

- Кончено испытание, - промолвил Леонтьев. - Ну что ж! Выпьем, что ли, за хороших людей! И за леса, конечно!

## ГОНКОЕ ДЕРЕВО

Выступая перед молодежью, Петр Максимович не рассказал о главном, что произошло в Москве: о том, что был принят проект постепенного восстановления знаменитых Брянских лесов.

Не рассказал он об этом из глубочайшего убеждения, что пока дело не начато, лучше о нем не болтать.

Петр Максимович был уверен, что у болтунов никогда ничего не выходит. "Терпеть не могу краснобаев! - говаривал он. - Ох уж эти мне златоусты! Наговорят с три короба, а как дойдет до дела, так туда-сюда, пырь-мыр - и ничего не получается".

Петр Максимович думал о себе, что он человек немногословный, почти молчаливый, не замечая того, что, даже оставаясь без собеседника, все время разговаривал сам с собой. Эту черту Петра Максимовича знали все его друзья и ученики. Она служила постоянной пищей для добродушных шуток над ним.

План восстановления Брянских лесов, жестоко пострадавших во время войны, был взвешен со всех сторон и настолько убедителен, что не встретил возражений.

Петр Максимович был сторонником восстановления лесов, как он выражался, "по-настоящему" - большими массивами, а не путем насаждения узких лесных полос.

С давних времен Брянские сосновые леса были лучшими в стране.

Это были корабельные боры превосходного качества, самого высокого, говоря языком лесоводов, бонитета.

Объяснялось это тем, что в песчаных землях, на которых разрослись эти леса, много фосфоритов. Такая почва дает сосне могучий рост и крупную и красивую древесину.

До революции брянская сосна ценилась и на внутреннем и на европейском рынках дороже всякой другой. Весь безлесный юг России жил за счет Брянских лесов. Множество брянского леса вывозилось из черноморских портов за границу. Пароходы везли на палубах могучие сосновые кряжи, разнося по всему миру освежающий, удивительный запах вековых сосен.

Еще до революции на обширных порубках в Брянских лесах начали

селиться крестьяне и превращать те земли, где исчез сосновый лес, в поля. Песчаная почва давала тощий хлеб. Овчинка не стоила выделки.

Поэтому Петр Максимович предложил восстановить сосновые брянские боры на всем их обширном пространстве, создать для страны богатейшие запасы прекрасной древесины, а под поля свести, если понадобится, те лиственные леса, что вклинивались в брянский сосняк и разрастались не на фосфоритных песках, а на земле, пригодной для земледелия.

План был принят, и с весны научные работы были перенесены из Ленинграда в одно из лесничеств в Брянских лесах.

Там же Петр Максимович заложил питомники скорорастущих деревьев.

Место для скорорастущих было удобное: средняя и теплая полоса России, где отсутствовали сильные ветры, была хорошая почва. Наиболее пострадавшие от войны лесные области, в которых предстояло вести посадки, находились поблизости.

Петр Максимович приехал в лесничество раньше всех, вместе с Колей.

Приехала и Полина Максимовна. За многие годы она впервые вырвалась из города и никак не могла надышаться и насмотреться на окружающую красоту.

Вблизи лесничества протекала река. Ее заливные луга еще не были скошены и цвели крупным клевером. На реке стояла до войны водяная мельница, но фашисты ее сожгли, и осталась только плотина - любимое место Полины Максимовны. Обугленный и обвалившийся мельничный сруб густо зарос лебедой.

Анфиса была еще в Москве. Она обещала приехать ближе к осени: студия готовилась к выпускному экзамену.

Нина Порфирьевна давно вернулась в Ливны и писала оттуда Коле и Анфисе короткие открытки, звала осенью хоть на две недели к себе. Звала, между прочим, и Леонтьева и Петра Максимовича. Последнего она соблазнила разросшимися посадками по склонам знаменитых оврагов.

Леонтьев остался в Ленинграде и засел за свою "дорожную книгу". В письмах к Коле он жаловался, что получается совсем не то, что он задумал, а какая-то лирическая поэма.

Он писал Коле, что завидует тем людям, которые умеют работать по плану. Для него точный план - нечто недостижимое. С первых же страниц план



трещит, расплзается, и сквозь щели этого хорошо пригнанного плана начинает прорастать буйная поросль. Очевидно, художественная правда крушит план, и автор не в силах справиться с внутренней логикой вещи.

Особенно возмущали Леонтьева его герои. С непонятым упорством они сопротивлялись ему, делали совсем не то, что намечал он для них (и, очевидно, как раз то, что им и нужно было делать), и производили на Леонтьева впечатление хотя и хороших, но чрезвычайно несговорчивых людей. Иногда он умилялся упорству своих героев, иногда приходил в ярость и рвал целые страницы. Но это не помогало.

- Ну и профессия! - говорил в сердцах Леонтьев. - Чтоб ей пропасть!

Но он прекрасно знал, что дело свое не променяет ни на что в мире. "Все равно, - говорил он, - буду есть мякину, а литературу не кину".

Когда Леонтьев узнал от Коли о смерти Марии Трофимовны, он как-то весь сжался и несколько дней ходил подавленный. Потом внезапно уехал и возвратился лишь через две недели.

Выяснилось, что он побывал сначала в том селе, где была похоронена Аграфена, а оттуда ездил в лесничество, где работал объездчиком, провел там несколько дней и возвратился с томиком Лермонтова в кармане и фотографией Аграфены. Он повесил ее у себя над письменным столом.

Больше Леонтьев ничего никому не рассказывал, и Коля, естественно, его ни о чем не спрашивал.

После поездки Леонтьев три дня не выходил из своей квартиры. Но после этих трех дней он вышел спокойный, как прежде. Перед этим он достал из письменного стола футляр с серьгами, долго, положив на ладонь, рассматривал их, потом снова спрятал в ящик стола.

Хотя Леонтьеву и очень хотелось поехать в лесничество, к Петру Максимовичу, но он решил до осени, пока хотя бы вчерне не окончит книгу, никуда не уезжать из Ленинграда.

В лесничестве было очень много работы с посадкой новых лесов и с закладкой питомников. Все разговоры вертелись вокруг семян, их всхожести и свойств скорорастущих деревьев. Лесники называли эти деревья "гонким деревом".

Петр Максимович волновался из-за посадок нашей сосны и "экзотов" скорорастущих заморских деревьев: дугласовой пихты, канадского тополя и так называемой сосны Муррея.

Коля хорошо знал свойства этих деревьев, привык уже к ним, но изредка даже ему они казались фантастическими существами. Особенно сосна Муррея.

Ее прозвали "пожарной сосной" за ее свойство великолепно разрастаться на горях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать - двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена "пожарной сосны" не теряли всхожести десятки лет.

Петр Максимович любил рассказывать, как однажды такая шишка выросла в ствол сосны, вокруг нее образовалось пятьдесят годовых слоев, а когда шишку выковыряли из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена.

Канадский тополь поражал скоростью роста, высотой и толщиной ствола. В Средней России этот тополь за шесть лет вытягивался в высоту на девять метров.

Но самым замечательным из "быстроходных" деревьев была, конечно, дугласова пихта. У себя на родине, в Канаде, она поднимается в высоту на семьдесят пять метров. Средний возраст дугласовой пихты доходил до тысячи лет.

Вскоре леса из этих деревьев должны были, по мысли Петра Максимовича, заполнить многие пустоши, оставленные войной.

Скорорастущие "экзоты" были в работе Петра Максимовича уже пройденным этапом. Он их просто разводил в питомниках для создания новых опытных лесов.

Сейчас он работал над выращиванием быстрорастущих деревьев из наших отечественных пород - ивы, сосны, ели. Это был смелый, но продуманный опыт. В этом деле наш ученый Яблоков добился уже удивительных результатов. Он вывел породу исполинской осины. За сорок лет она достигала сорока метров высоты. Древесина ее была крепкая, чистая и совершенно не загнивала, как древесина нашей обыкновенной осины.

Петр Максимович скрещивал наши деревья с заморскими исполинами и добивался их быстрого роста.

Эта кропотливая и сложная работа уже подходила к концу, и Петр Максимович был уверен в ее успехе.

Один небольшой участок питомника Коля засеял семенами из отборных

сосновых шишек, заготовленных на зиму белками. Он решил посвятить молоденькие сосны, которые вырастут из этих семян, Леонтьеву. Могут же писатели посвящать книги друзьям и любимым людям! Почему же лесовод не может посвятить любимому человеку прекрасное дерево, на выращивание которого потратил много труда? Работа над ним требовала такого же напряжения, столько же забот, как и работа над книгой.

Особенно ясно Коля почувствовал это, когда в питомнике появились первые слабые побеги деревьев. Они были похожи на побеги травы. С ними было, пожалуй, столько же хлопот, как с детьми. В жаркие дни их надо было притенять еловыми ветками, а осенью, когда из низин начали наползать по ночам холодные туманы, приходилось разжигать вдоль питомника костры, окутывать посадки дымом, чтобы согреть их и не дать туману съесть побеги.

## КИПРЕЙ

В начале августа в лесничество приехали Анфиса с Женей Горбачовым.

Коля поехал встречать их в городок на большой реке - туда подходила ветка железной дороги.

Машины все были заняты, и Коле дали телегу и лошадь. Коля даже обрадовался. Поездка в телеге была приятнее, чем тряска в машине по сосновым корням.

Городок был маленький, наполовину сгоревший во время войны. Улицы были так густо засыпаны сенной трухой, что телега катилась по ним бесшумно, как по ковру. От складов с пенькой тянуло сухим приятным запахом, напоминавшим запах вошины. В городском саду над рекой сварливо кричали и дрались на деревьях галки. Сад зарос чистотелом, крапивой. На круглой деревянной тумбе у входа была наклеена афиша: в кино "Аврора" шла новая картина "Машенька". Коля усмехнулся: подходящее название для кино в таком городке - "Аврора"! Богиня утренней зари!

Поезд должен был прийти только на следующее утро, и Коля переночевал в Доме колхозника.

Проснулся Коля на рассвете. Он вышел во двор умыться. Роса лежала на траве. Вокруг колодца ходил, гогоча, заспанный недовольный гусь.

Дом колхозника стоял на юру. Вытираясь, Коля видел, как в туманах, в свежести, еще оставшейся от ночи, всходило за рекой солнце. Розовые лучи протянулись в вышину, где еще висел месяц, усталый и побледневший от ночного скитания по огромному небу.

Вокзала в городке не было, он сгорел. Вместо вокзала стоял пока

товарный вагон.

Поезд подходил медленно и остановился далеко от товарного вагона. Коля побежал к нему навстречу, но опоздал - Анфиса уже спрыгнула на насыпь, а Женя вытаскивал из вагона и подавал ей чемодан и кошелку.

Анфиса крепко поцеловала Колю и сказала:

- Как все-таки мы много путешествуем, Коля!

- Никогда я не был в таких глубинных местах, - заметил, оглядываясь, Женя. - Очень все интересно.

Женя удивился телеге и еще больше удивился, когда узнал, что никакого возницы нет, а повезет их Коля.

- Доедем! - успокоил его Коля. - Садитесь. По дороге завернем в чайную на берегу, около плашкоута. Выпьем чаю, закусим.

В чайной было тепло, чисто. Девочка в красном ситцевом платье домывала полы. Сели за дощатый стол. Анфиса достала из кошелки бутерброды. Коля выложил на стол редиску; он купил ее около вокзала. Девочка внесла маленький самовар.

И Анфисе, и Коле, и особенно Жене это утро в чайной представлялось удивительным. Казалось, что они стали участниками неторопливого романа, действие которого происходит в неизвестном городке с деревянными домами, с заглохшими садами, молодой любовью, дружбой, - романа, перенесенного из столиц в глубину страны, в лесные края, на проселочные дороги.

Было слышно, как по сырым оврагам тихонько бормотали родники. Женщины спускались к ним с ведрами и коромыслами. Ведра звякали в тишине.

Долго ехали лугами. В балках застоялись лужицы воды, заросшие по краям незабудками. Потом пошли гари с одинокими тонкими соснами. Гари сплошь были покрыты красным кипреем.

Солнце палило нещадно. Тучами налетали слепни. Лошадь часто останавливалась, отбиваясь от них головой и хвостом.

Когда гари окончились и телега въехала в большой лес, решили переждать жару.

Коля распряг мерина, завел его в гущу орешника. Мерин довольно

фыркал и срывал листья серыми, замшевыми губами. Слепни исчезли.

Очень хотелось пить.

Они напились воды из круглой ямки во мху, где вода стояла в уровень с землей и была холодная и чистая. Если приглядеться, то была видна тихая струйка воды, бившая откуда-то снизу, из мха. Она покачивала утонувшую в этой криничке высохшую ветку брусники.

Женя лежал на земле около старого пня и рассматривал его. Кора кое-где отвалилась. Виднелись запутанные ходы, проточенные лубоедом. По этим ходам бежали муравьи и тащили в хранилища внутри пня разные зернышки и сухую хвою. Сбоку на пне вырос древесный гриб - желтый, как сера. Потом прилетел бархатный шмель - черный, с золотой полоской на брюшке, - сел на цветы кипрея и деловито загудел.

- Как здорово! - промолвил Женя. - Такой пень можно рассматривать без конца.

- Этот старый, перегнивший пень, - сказал Коля, - при умении можно прочесть, как книгу. Он весь в иероглифах.

- Как это? Какую книгу?

- Книгу о круговороте жизни в природе. И еще о многом. Вот, смотрите, около пня растет кипрей. Но только около пня. На полянке его уже нет. Кипрей любит землю, богатую азотом, а такая почва всегда образуется около муравейников. Редкий цветок. Помните, на горях целые поля кипрея. Он там разрастается тоже неспроста. Дело в том, что кипрей очень смягчает жару и не дает солнцу на горях сжигать молодые побеги деревьев. Нигде, как на горях, земля так сильно не раскаляется от солнца. И, кроме того, кипрей по ночам не подпускает к побегам холодный воздух. Бывает так, что все верхушки кипрея обмерзнут, но он не даст погибнуть всходам. Самоотверженный цветок. Но этого еще мало: кипрей влияет не только на температуру воздуха вблизи земли, но и на температуру почвы. Он охраняет не только побеги, но и их слабые корни.

- Слушай, Коля, - сказала Анфиса, - это похоже на какую-то сказку. Цветок-нянька! На месте Леонтьева я только бы и писала, что об этих травах и деревьях. Хватило бы на целую жизнь. Какую бы книгу он мог написать! Надо его растормошить.

- Каждый может это знать, - ответил Коля, - но передать по-настоящему может, конечно, только поэт.

Шмель торопливо вылез из цветка кипрея, почистил лапки, взлетел и

сразу же набрал высоту.

- Вот Петр Максимович, - сказал, помолчав, Коля, - говорит, что в будущих лесах должно быть много псек. Пчелы будут опылять деревья и кустарники. И, кстати, в лесах будут жить хорошие люди - пасечники. Пожалуй, нигде занятие так сильно не сказывается на человеке, как здесь. Пчелы не любят неряшливых и шумных людей.

...Жара начала спадать. Небо медленно заволкло тучами, по лесу прошел ветер.

Коля запряг мерина, и они поехали дальше. Дорога заросла высоким папоротником. Он хлестал мерина по ногам и оставлял на них оранжевую пыльцу.

В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох.

- Дождь! - сказала Анфиса и вытянула руку.

Тотчас на ладонь ей упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья.

Зашевелились от ударов капель листья, запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром.

Потом вдруг дождь припустил и начал часто-часто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Деревья весело и торопливо зашумели, листва покрылась мокрым блеском, а от спины мерина повалил пар. Стащили с сена на телеге грубое полосатое рядом и накрылись им, как палаткой.

Дождь усиливался. Песок промок, потемнел. Кое-где в колеях уже налились лужицы, и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри.

Коля свернул лошадь с большака на боковую дорогу.

- Ты куда? - спросила Анфиса.

- Тут лесная сторожка рядом. Надо переждать.

Около лесной сторожки их облял взлохмаченный пес со смеющимися глазами. Лаял он, как потом выяснилось, от досады, что ему нельзя сразу же положить Анфисе лапы на плечи и лизнуть ее в лицо. Но он это сделал, как только Анфиса соскочила с телеги.

На крыльцо вышел худой лесник.

- Назад! - крикнул он на пса, но тот уже прыгал на Женю и в конце концов ухитрился лизнуть в лицо и его.

- Дождиком прихватило? - спросил лесник. - Похоже, обкладывает. Пожалуйте в избу.

Вошли в избу. В ней никого не было.

- Хозяйки у меня нету, - сказал лесник. - Померла еще до войны. Так один и верчусь. Сейчас я самоварчик поставлю. Молоко есть в подполе. Выпейте.

- А кто же у вас корову доит? - спросила Анфиса.

- Самому приходится, - неохотно ответил лесник.

Лесник делал все медленно, не спеша: достал чашки, деревянную солонку с крупной желтой солью, поставил самовар, потом полез в подпол.

Пока он возился там, Анфиса заметила за ситцевой занавеской на русской печке два серых испуганных глаза. Они смотрели на нее не мигая. Когда лесник вылез из подпола, Анфиса спросила:

- Кто это у вас там?

- Где? - встревоженно спросил лесник.

- На печке.

Лесник оглянулся на занавеску, ничего не ответил и начал раздувать самовар. Было видно, что вопрос Анфисы застал его врасплох и он этим недоволен. Наступило неловкое молчание.

Лесник сел на лавку около Анфисы, начал скручивать сигарку и, помолчав, сказал вполголоса:

- Дочка там у меня. Маша. Хворая.

- А что с ней? - так же тихо спросила Анфиса.

- Душевная у нее болезнь. Дикая она, пугливая. Людей боится. Ране я на людном кордоне служил, да вот из-за нее перевелся сюда, в самый глушняк. Тут потише. Прохожие люди ее не беспокоят.

- С чего же это она? - спросил Коля.

- Да-а... - сказал, не расслышав вопроса, лесник, - была девочка звонкая. Бывало, как побежит в лес по грибы - никаких тебе малиновок не надо! Как пришли фашисты, мы с ними, понятно, бились здесь, в своем лесу. Партизанили. Маша, понятно, при мне - куда ей деваться. Побегла она как-то на покров в соседнее село, а вернулась уже не в себе. Вся черная, заикается, ко мне жметя. А там, видишь, какое дело: фашисты при ней человека повесили. Значит, не все детский глаз видеть может. Не все! Не выдержала. С тех пор так и пошло: от людей хоронится, как зверек какой-нибудь лесной. Так что вы не обижайтесь, ежели я неласково вас встретил. Все опасаюсь, как бы ей хуже от людей не было. Но, замечая, теперь ей полегче. Ежели с ней тихо, ласково, она уже не боится.

Лесник обернулся к печке, сказал:

- Маша! А Маша! Ты выйди. Это люди хорошие. Они с добром к нам приехали.

- Здравствуйте, - прошептала из-за занавески девочка.

- Здравствуй, Маша, - ответила Анфиса. - Слезай, иди к нам. Будем чай пить вместе. У меня гостинцы для тебя есть.

- Я босая, - ответила девочка.

- Ну что ж, что босая? Я тоже разуться могу.

Девочка шире раздвинула занавеску и долго смотрела на Анфису.

- Вы ее больше не кличьте, - сказал лесник, - а то опять напугается. Она, может, сама придет.

Девочка действительно слезла с печки, подошла к столу, долго смотрела на Анфису жадными глазами, потом подошла к ней, тронула пальцем часики на руке у Анфисы и сказала:

- Там старичок сидит. Чего-то весь день пилит и пилит. Только ваш старичок махонький, а наш большой.

- Какой ваш?

- А вон тот! - Девочка показала на старые ходики. - Наш старичок кузнец. Он ножик кует. Как выкует - всех зарежет.



- Ты брось, дурочка, выдумывать! - строго сказал лесник. - Ни к чему это все!

Губы у девочки задрожали. Она с испугом посмотрела на отца, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анфиса притянула девочку к себе, погладила ее плечи, растрепанные косицы. Девочка уткнулась горячим, мокрым лицом в грудь Анфисы и все плакала, никак не могла остановиться.

- Ну чего ты? - сказала Анфиса. - Он совсем не ножик кует, а стучит молотком, мастерит себе сапоги на зиму. Он добрый дед, глухой. Зачем же его обижать!

Девочка перестала плакать, судорожно вздохнула, искоса посмотрела на Анфису и еще теснее прижалась к ней.

- Отошла, - сказал лесник. - А со мной бы - нипочем. Вот беда!

- Лаской ее можно вылечить, - заметил Коля.

- Оно, конечно, так. Да на ласку, милый человек, времени много нужно. А где его взять? Я целый день в лесу, а она тут одна. Вот и выдумывает бог знает что.

- Я за ней дня через три приеду, - сказала Анфиса. - Возьму ее на время в лесничество. Может быть, там у нее все и пройдет... Поедешь со мной, Маша?

- Поеду, - едва слышно ответила девочка и еще крепче прижалась к Анфисе, к ее платью, от которого дивно пахло не то травами, не то цветами.

- Да... - сказал лесник. - Незнамо как и благодарить. Женское сердце - оно все одолеет. Это уж истинно!

Дождь прошел только к ночи. Туча ушла куда-то за леса. Низко, касаясь верхушек деревьев, вошла луна. Свет ее блестел в лужах.

Лесник запряг лошадь, навалил на телегу сухого сена.

Анфиса задремала в телеге от усталости. Изредка она открывала глаза и видела все то же: лес и лес и блеск лунного света на дуге. Она слышала обрывки разговоров Коли и Жени, снова начинала дремать, и ей казалось, что этому лесу не будет конца.

СТАРЫЕ СЕРЬГИ

Леонтьев сговорился в городке с веснушчатым шофером, что тот доставит на машине его вещи в лесничество, к Петру Максимовичу, а сам пошел пешком.

Леонтьев ожидал, что шофер удивится этому, но шофер отнесся к решению Леонтьева совершенно равнодушно. Это почему-то удивило и даже немного обидело Леонтьева. Так они и расстались, условившись завтра встретиться в лесничестве.

Освободившись от вещей, Леонтьев прошел через городок к реке. На наплавном мосту человек в гимнастерке с медалями за Сталинград и Берлин удил рыбу. Он покосился на Леонтьева и спросил:

- Огонька нету? Я свой коробок подмочил.

Леонтьев дал ему закурить и присел рядом на бревно. Когда позади проезжала телега, Леонтьева встряхивало.

В темной струящейся воде что-то поблескивало.

- Головли, - сказал человек с медалями. - Нету клева. Шут их разберет, какая им насадка нужна! Подойдут, понюхают и уйдут.

- Хорошо здесь у вас!

- Да, - согласился человек с медалями. - Это точно, хорошо... Далеко идете?

- В лесничество.

- Ну и развернулись там наши ученые! - с гордостью сказал человек с медалями. - Леса сажают по всей округе. Да как! Через двадцать лет тут будет рай суший. Это точно!

Он наклонился, схватил воткнутое между бревен удилице и резко подсек. Леска натянулась и быстро пошла к берегу.

- Шалишь! - сказал человек с медалями и потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу. Он ловко выбросил ее на настил моста. Рыба запрыгала, сверкая на солнце.

Женщина, ехавшая в телеге, остановила лошадь, сказала:

- Вот тебе, голубчик, и добыча. Хочешь меняться?

- На что?

- Сметанка у меня есть.

- Езжай! - сказал человек. - Привыкли меняться. Может, еще и кобылу выменяешь.

- Что ты! - ответила женщина. - Шутишь как несообразно. Кобыла колхозная. А мне ушицы охота попробовать. Я ее очень обожаю.

Женщина задергала вожжами и проехала. Леонтьев попрощался с человеком с медалями и пошел дальше.

Кончался август. В лугах облепляла лицо паутина, но летали те же бабочки, что и весной: крапивницы и лимонницы.

Леса по горизонту терялись в сухом розовом тумане. В ощущении простора, раскинутого во все концы земли, было что-то и праздничное и грустное, как в коротком возвращении детства.

Леонтьев прошел мимо поемного озерца, заросшего по берегам шиповником, нарвал оранжевых ягод и попробовал. Их сухая сладковатая мякоть ему очень понравилась.

За лугом пошли новые лесные посадки. Леонтьев остановился и засвистел: тысячи молодых сосенок зеленели в бороздах, поросших кипреем.

Вскоре начался нетронутый лес. Леонтьев лег на землю около молодой сосны. Рядом с ним под черным осиновым листком прятался клейкий масляк. К нему прилипла какая-то зеленая мушка и тонко жужжала, пытаясь освободиться.

На травинку села лимонница, сложила молитвенно крылышки и уснула. От земли потягивало теплом. Леонтьев не заметил, как задремал.

Сквозь дремоту он думал о своей книге. Удалось ли ему передать в ней очарование этих просторов, весен, зим, полей, лесов? Кажется, удалось. Но, должно быть, нелегко будет читать эту книгу. Человек стал слишком тороплив, а такие книги надо читать медленно, стараясь увидеть внутренним взором все, что там написано.

...Он очнулся от ощущения, что на него кто-то смотрит.

На дороге стояла девочка лет десяти, русоволосая, немного растрепанная. Косицы ее были завязаны зелеными тесемками. В руках она держала кошелку с грибами.

- Тебя как звать? - спросил Леонтьев. - Феней?

- Нет. Я Настя. Я по грибы ходила. А вы зачем на солнце спите? Голову нажжете.

- Ты откуда?

- Из лесничества. А почему вы меня Феней назвали?

- Похожа ты на Феню. Потому и назвал.

- А откуда вы ее знаете, Феню?

- Знаю.

- Вот и неправда! - засмеялась девочка. - Она "сахар" сказать не может. Говорит "шахар". И вовсе на меня не похожа.

- Да ну! - удивился Леонтьев. - Значит, это не та Феня.

- Одна у нас Феня. У нее нос рыжий. От веснушек.

- Ну, пойдем, - сказал Леонтьев и поднялся. - Мне тоже в лесничество. Далеко еще идти?

- Часа два, - ответила Настя. - Я быстро хожу.

И она проворно двинулась по дороге, перебирая маленькими загорелыми ногами и немного наклонившись набок, чтобы легче было тащить тяжелую кошелку с грибами.

- У нас в лесничестве теперь новая девочка живет, - сказала Настя. Маша, лесникова дочка. Она с отцом жила на кордоне. А ему трудно. Она больная, Маша. Будто немного безумная. Тут приехала из Москвы одна молодая тетенька и забрала ее к себе в лесничество.

- Зачем?

- Чтобы, значит, вылечить ее.

- Ну и как?

- Ничего. Полегчало. Маша с нами теперь даже играет. А ране, бывало, как увидит кого из нас, так и бежит, бежит - не догонишь.

- А кто же эта молодая тетенька?

- Артистка! - ответила с гордостью Настя. - Я вырасту, тоже пойду в артистки. Плясать буду.

"Анфиса! - подумал Леонтьев. - Конечно, она".

Вышли на порубку. Сосны были спилены высоко, на уровне человеческой груди. Местами завалы из стволов и высохших веток с рыжей хвоей казались непроходимыми. Из земли уже пробивалась березовая поросль.

Но во многих местах ветки и сушняк уже были убраны в большие кучи, а пни спилены под корень. В этих местах порубка уже не производила впечатления сплошного бурелома и хаоса.

- Это здесь фашисты лес валили, - сказала девочка. - Хотели наших остановить. Смотри, чего наломали. А нынче все это прибирают, и тут новый лес посадят из какого-то дерева - я забыла, как его зовут. Оно духовитое. И мы тоже лес сажаем.

- Кто это "мы"?

- Ребята. Мы старших иногда обгоняем.

Девочка шла все быстрее. Леонтьев за ней не поспевал. Да ему и не хотелось торопиться.

- Ты беги, - предложил он девочке. - Дорога прямая, я сам дойду.

- Ладно. А то мне поскорее надо.

Она кивнула Леонтьеву и уже через минуту была далеко, а потом и совсем исчезла за густой порослью.

Леонтьев остановился. Среди поваленных сосновых стволов лежал на боку заржавленный танк с запыленным фашистским крестом на башне.

Леонтьев подошел к нему. Башня была открыта. Из нее пахло нагретым воздухом. Серая ящерица, заметив Леонтьева, быстро побежала по броне и юркнула внутрь танка. Там было пусто. Виднелись острые зубцы развороченного взрывом металла.

Со свойственным ему любопытством Леонтьев пошарил вокруг танка, поискал, но ничего не нашел, кроме втопанной в землю кожаной рукавицы.

Леонтьев хотел поднять ее, но сквозь рваную рукавицу пророс подорожник, и ее можно было оторвать от земли только вместе с ним. Леонтьев пожалел подорожник и не тронул рукавицу.

Он потрогал на танке выбоины от осколков, усмехнулся, подумал, что вот этот сеятель смерти стал игрушкой для наших деревенских ребят и что никакие танки и бомбы не остановят движения нашей жизни. Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Он пошел дальше. День был на исходе. Мошкара толкалась в теплом воздухе. На землю спускалась предвечерняя дымка. Вдали на дороге показались люди. Они шли навстречу Леонтьеву. Он остановился, пригляделся. Шли двое: мужчина и женщина. Кажется, это были Анфиса и Коля. Леонтьев замахал рукой, крикнул:

- Эге-гей!

Ему ответил голос Анфисы. Она и Коля уже бежали ему навстречу. Леонтьев остановился, засмеялся, и в уголках его прищуренных глаз заблестели слезинки.

- Черт знает что! - сказал он, когда они подбежали к нему. - Я сделался чувствительным, как старая дева. Стыд и срам!

Он расцеловался с Анфисой и Колей и, смеясь, потряс Колю за плечи. Анфиса выбрала его за то, что он ничего не написал, и если бы Настя не прибежала в лесничество полчаса назад, то они бы его и не встретили.

Они сели на песчаный бугорок около дороги и никак не могли наговориться. Оказалось, что надо сейчас же рассказать друг другу очень много важного, но на это не хватит не то что часов, но целых дней, и потому все разговоры придется пока отложить на ближайшее будущее.

Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на землю столько червонного золота, что все вокруг пылало.

- Пора идти, - сказал, вставая, Коля. - Тут кругом болота. Будет туман.

Они встали.

- Ну как, - спросил Леонтьев, - вы поженились?

Анфиса и Коля переглянулись, потом Анфиса строго посмотрела на Леонтьева и молча кивнула.

Тогда Леонтьев достал из кармана пиджака маленький потертый футляр

и раскрыл его. В нем лежали две простые на вид сережки. Но как только заходящее солнце бросило на них свой последний свет, в каждой сережке загорелась яркая капля воды.

- Это что? - тихо спросила Анфиса.

- Помните те серьги, что Чайковский подарил девочке Фене?

- Ну да, конечно, помню, - еще тише сказала Анфиса.

- Это они. Нагните голову.

Анфиса молча наклонила голову, и Леонтьев осторожно вддел серьги в мочки ее маленьких, зардевшихся от волнения ушей.

- Это вам, - сказал Леонтьев. - Не от меня. От Аграфены, от Марии Трофимовны. Потому что вы - одна из тех простых русских женщин, ради которых стоит делать всякие чудесные вещи.

Анфиса опустила голову. Румянец сошел с ее щек. Она была очень бледна.

Потом она подняла на Леонтьева испуганные глаза, обняла его одной рукой за шею, другой рукой притянула к себе Колю, крепко прижалась к их лицам своим горячим лицом, отвернулась и быстро пошла по дороге.

Леонтьев и Коля пошли за ней следом. Оба молчали. Коля взял Леонтьева за локоть и крепко его пожал.

- Ничего, - сказал Леонтьев. - Успокойся.

Сумерки густели, и в сумерках белело только платье Анфисы. Наконец Анфиса остановилась, подождала Леонтьева и Колю, а когда они подошли, взяла их под руки, и они пошли рядом.

Вечерняя заря догорала на небе. Леонтьев думал, что вот прошел отрезок его жизни, и как будто, на первый взгляд, ничего необыкновенного в ней не произошло.

Но на самом деле жизнь за это время так далеко ушла вперед, что трудно даже было все осмыслить и оценить. Он чувствовал, что жизнь еще больше приблизилась к тем временам, ради которых работали тысячи его соотечественников, ради которых жил и работал он сам.

"Может быть, золотой век уже рядом", - подумал Леонтьев.

Перед этим сознанием меркнет все - все тяготы, неурядицы, неудачи, ошибки. Наш путь правильно продолжен на карте. Это главное.

И как за вечерней зарей неизбежно придет утренняя, во всей своей ясности, в кристаллическом блеске Венеры, в бодрости и тишине, так и за его жизнью, склонившейся за середину, придет жизнь молодежи - и Анфисы, и Коли, и тысячи других девушек и юношей.

Ради них стоит работать, преодолевать и побеждать, чтобы оставить им в наследство эту любимую землю, великие леса, этот чистейший воздух, богатые поля и города, талантливые книги, разумный, привлекательный труд все, что наполняет жизнь смыслом и радостью.

В их руки мы отдаем все свершения своей жизни, отдаем свое сердце. И наша самая высокая награда - в сознании, что эти руки бережно пронесут все, чего мы добились, что выстрадали ради высокой справедливости, пронесут к новым поколениям и к новым, счастливым временам.